Любовь
Овсянникова

1955

НЕПТУНУ НА АЛТАРЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В детстве рассказчица услышала исповедь старшей подруги о своей любви, которая закончилась трагически, поскольку ее возлюбленный погиб на линкоре «Новороссийск». Услышанное поразило девочку, вызвало в ней глубокое сожаление о том юноше, запало в душу.

Прошли годы, настала пора переоценки ценностей и появилась необходимость разобраться в том, к чему она была весьма косвенно причастна. Оказалось, что беда с «Новороссийском» не пришла неожиданно — ей предшествовали пророческие сны, внезапные прозрения, вещие знаки, все то, что сегодня вполне признается наукой и называется паранормальными явлениями. На фоне этих воспоминаний вырисовывается история украинского села с его древними традициями, страницами голодомора, потерями на войне, послевоенными достижениями.

Непроизвольно рассказ перерастает в исследование катастроф в социуме и их влияния на жизнь отдельных людей. О будущем можно догадаться из предчувствий, если их правильно раскодировать. Но стоит ли это делать, и хватит ли человеку сил противостоять бурному натиску стихий?

- Любовь Овсянникова
  - Раздел 1. ИЗБРАННИКИ МОРЯ: НИКОЛАЙ
    - Часть 1. Визит
    - Часть 2. Рождение силы
    - Часть 3. Надежда, которую предали
  - Раздел 2. ИЗБРАННИКИ МОРЯ: ЮРИЙ
    - Часть 1. Встреча с будущим
    - Часть 2. Нити чужой судьбы
    - Часть 3. Прощание с юностью
      -
      - СЛАВГОРОДСКИЕ СПАСАТЕЛИ: Илья Вернигора
      - СЛАВГОРОДСКИЕ СПАСАТЕЛИ: Яков Бараненко
    - Часть 4. Нечеткие горизонты
  - Раздел 3. НЕПТУНУ НА АЛТАРЬ
    - Часть 1. Ночной кошмар
    - Часть 2. Жнецы потерь
  - Раздел 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
    - Часть 1. Банальные истины

- Часть 2. Горечь
- Часть 3. А дальше была работа…
- Часть 4. Точка пересечения…

○ Эпилог

• notes

○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5

Маме
Николенко
Прасковье Яковлевне
с благодарностью
посвящаю.

Любовь Овсянникова
Нептуну на алтарь

Раздел 1. ИЗБРАННИКИ МОРЯ: НИКОЛАЙ

Часть 1. Визит

2002 год. Утро середины апреля.

Слишком теплая и сухая зима отошла поспешно и рано. Раньше положенного срока зацвел абрикос; давно налитые бутоны сирени, перестоянные в ожидании, облегченно разразились клейкими листочками; почти взрывоподобно просыпались вишни.

Затем погода уравновесилась, зачастили жиденькие дожди, и в их спасительной влаге воздух остро запах озоном, цветами и первой зеленью. Сороки и вороны, уставшие от гаданий и заклинаний гроз, теперь сидели на верхушках крон, прислушивались к далеким атмосферным перекличкам и оживленно крутили головами, иногда звонко каркая. Возбужденные воробьи черными гроздями обседали кусты и несмолкаемо щебетали хором. Лишь снегири с красными грудками и свиристели с розово-серыми хохолками оставались яркими пятнышками среди все еще преобладающей вокруг серости. Они перелетали с ветки на ветку, имитируя чрезвычайную деловитость, а на самом деле старались скрыть наслаждение, получаемое от купания под жиденькими струями небесной воды.

Апрельская сырая хмурость, в которой созревает настоящее стойкое тепло, мне тоже нравится, поэтому лучшего времени для поездки нечего было и желать. Недолго думая я собралась, прикинула, что на все про все уйдет не больше полутора часов. Буду ехать медленно, легко преодолевая крутые холмы на третьей скорости, осмотрительно тормозя на спусках в ложбинки. Буду вспоминать отца, как ездила с ним здесь когда-то, его шутки, касающиеся названий сел и хуторов, его прибаутки к собственным и чужим приключениям, с которых он начинал путевые беседы. Он всегда развлекал пассажиров рассказами о прошлом и о тутошних чудаках. Отец знал так много, что без него я обеднела на целый космос.

Я вожу машину так, как он хотел. На поворотах, где у «крутых» водителей скрипят тормоза и машину заносит на обочину, всегда торможу и еду медленнее, на что мое авто откликается недовольным урчанием, а потом на ровной дороге снова набираю скорость. В последние свои месяцы отец настаивал, чтобы я научилась хваткому вождению, и на совесть школил меня. Мы выезжали в степь, и он успевал не только делать замечания, где я неправильно выполняла упражнения, но и рассказывать о своей жизни. Это отдельная тема, которая

отныне и вовеки не будет оставлять меня, чтобы я ни делала. Отец…

Из Днепропетровска поехала на Новомосковск, потом выбралась на Симферопольскую трассу и, миновав несколько балок, оказалась на границе с Запорожской областью. Пересекать ее не стала, а взяла налево, повернула на Славгород. Справа в разлогой низине заблестела лента ручейка, разделяющего две области. Вдоль дороги засеянные поля темно зеленели озимыми.

С волнением преодолела последние тринадцать километров. Наконец на горизонте открылся вид с белыми домами в окружении еще голых, черных деревьев. Но сады уже оживали, дымились прозрачными выдохами. Над ними поднималось в небо то ли шаткое марево нагретого воздуха, то ли жидкие облака туманца, то ли утлые нагромождения пара из разогретых на солнце насквозь мокрых ветвей.

Вскоре слева появились первые дома родного поселка. Перед каждым из них издавна подремывал опрятный палисадничек, отгороженный от дороги забором и неровной шеренгой вишен — так тут спасались не только от шума, но и от пыли.

Оставив машину за воротами нужного мне дома, я отворила калитку, под лай звонкоголосого песика поднялась на крыльцо и нажала кнопку звонка.

Ожидая отзвука, рассматривала активно несущего службу дворового сторожа: маленький, рыжий, лохматый, ужасно вертлявый песик был очень симпатичен. Он прыгал, переворачивался в воздухе и заливался невероятными завываниями. «Артист, — подумала я, — знает, что хозяин где-то поблизости и непременно оценит его старания». Но вот на пороге возник мой будущий герой, показавшийся несколько моложе, чем я воображала, зная его возраст. Он казался высоким, стройным, не худым, но и не полным. Черты слегка удлиненного лица — приятные, мягкие. Глаза — мудрые и радушные. Всю свою жизнь я знала Николая Николаевича Сидоренко, но не видела со дня окончания школы. Поэтому сейчас будто знакомились с ним заново.

Мы вошли в дом, уселись в прихожей: я — в большом кресле, а сам хозяин — на диване рядом с женой. Николай Николаевич из предварительных разговоров по телефону знал о моих задумках. И сейчас живо интересовался моими делами, расспрашивал о творчестве, о том, что привело меня к нему. Жена его, тетя Аня, больше помалкивала, внимательно слушала нас и вмешивалась в разговор лишь тогда, когда муж что-то у нее уточнял. Тогда старательно вспоминала даты, имена, события.

— Николай Николаевич, вы один из тех, кто постоянно

заботился о сохранении истории Славгорода, немало сделали для увековечения его прошлого, оставив тем добрую память о себе и своей деятельности. Это не каждому удается. Что вами руководило? — спросила я.

И попросила его поделиться воспоминаниями.

— Как сказать коротко и просто? — он сдержанно улыбнулся. — Любить людей меня научило тяжелое детство, а брать на себя ответственность за их судьбы — армия, море. На моих глазах из-за безответственности командиров погибло свыше восьмисот человек, молодых мужчин. И тогда я сказал себе, что при любых обстоятельствах, если кто-то будет нуждаться в помощи, буду оказывать ее по своему усмотрению и без колебаний.

Позже, когда первая обоюдная скованность прошла, его жена принесла свежий чай. Обжигаясь им, я вдруг поняла, что это не столько само угощение по сути, сколько ритуал, обязательным атрибутом которого является услаждение медом, вареньем, сметаной, конфетками. «Пить чай» — это означало определенным образом вести себя во время беседы, пользуясь глотками ароматного (тогда еще настоящего!) напитка как удобным поводом для пауз и для взвешивания слов и фраз.

Разговор оживился, исподволь я отстранилась от насущного и погрузилась в историю этой семьи, стараясь добраться до ее истоков.

Часть 2. Рождение силы

Соседи провожали в армию Анютиного старшего сына Николая. На своем краю поселка он был самым пригожим, серьезным, степенным парнем. Девушки засматривались на него.

Но ему было не до них. Он должен был содержать и опекать семью, осиротевшую после расстрела немцами Андрея Гавриловича Горового, отчима, — мать, сестру и младшего брата. Мать много работала, но в колхозе продовольственных пайков не выдавали, денег не платили, лишь писали трудодни, неуверенно обещая когда-то их отоварить. Так вот, чтобы прокормиться, Николай после пятого класса вынужден был идти работать на Славгородский завод «Прогресс», где хоть как-то платили за работу. Лето 1946 года было мало что послевоенным, восстановительным, так еще и неурожайным, и люди понимали, что впереди их ждет голод. Пайком на брата и сестру Николай обязан был председателю поселкового совета Топорковой Оксане Афанасьевне. Тогда паек на иждивенцев выдавали при наличии справки из сельсовета, что его получатель является основным кормильцем семьи. Справку о том, что не на Анютином, а на Николаевом содержании находятся двое несовершеннолетних детей, и дала Оксана Афанасьевна. Пошла на нарушение женщина, конечно. Но спасибо славгородцам, что не выдали ее, добрую душу, и Николая, сироту, пожалели.

Перед разлукой с домом насели воспоминания.

* * *

Оксана Афанасьевна Топоркова, бывшая коммунарка, помогала славгородцам выживать в трудные времена. Другая бы не делала того, что не входит в ее непосредственные обязанности, а Оксана Афанасьевна делала, так как не могла стоять в стороне от местных забот, от повсеместных трудностей. Она знала, что кое-кто из людей относится к бывшим коммунарам с недоверием за их чрезмерную политизированность, и стремилась переломить такие предубеждения. Да в конце концов, она таки оставалась настоящей коммунаркой по духу и убеждениям — жадной до перемен, активной в общественной жизни, инициативной, неравнодушной к конкретному человеку.

Эту женщину прежде всего уважали за человечность. Она чутко и сострадательно относилась к тем, кто попадал в сложные обстоятельства, всегда старалась помочь, причем, не ждала, когда

ее позовут, — сама шла. Взять хотя бы Агафью Сулиму.

Оставшись после войны вдовой с пятью детьми на руках, она, бедная, от горя и страха перед будущим повредилась умом. Еще хуже ей стало, когда от бедности умер Коля, сынок. Агафья перестала узнавать знакомых, все время куда-то порывалась. И над ее дочерями Верой и Зинаидой, над сыновьями Володей и Петром нависла безрадостная перспектива: их должны были определить в разные детдома. В Славгороде жило много семей с фамилией Сулима, но все это были дальние родственники, а хоть бы и близкие, так у каждого в доме своих детей и недостатков под завязку хватало. Никто из них и не думал хлопотать о несчастной Агафье.

— Что будем делать? — спросила Оксана Афанасьевна, собрав у себя дома всю родню Агафьи Сулимы. — Разлучим детей, отдадим в чужие руки? А может, сами присмотрим за ними, сами выходим?

— Как мы за ними присмотрим? Ведь Агафья, как известно, неизлечима и должна постоянно находиться в больничной палате, — сказал кто-то.

— Больницу я беру на себя, мне необходимо заручиться вашим согласием.

— Согласием на что?

— Дело в том, что Агафья Сулима не является общественно опасной, — спокойно продолжала Оксана Афанасьевна. — Будем надеяться, что со временем, в покое и среди родных детей, состояние ее здоровья улучшится. Поэтому кому-то из вас надо предоставить по месту психиатрического учета больной расписку, что вы принимаете на себя ответственность за ее поведение. Тогда Агафью возьмут под поликлиническое наблюдение, и дети останутся дома, возле матери.

На том и сошлись. Сегодня трудно сказать, кто дал такую расписку. Да разве в этом дело? Главное, что Агафья осталась дома, а дети — в родительском доме, под надзором родственников. Голодно жили, но вместе, в родном кругу.

— Жизнь нашей семьи постепенно налаживалась, — рассказывает Зинаида, дочь Агафьи Сулимы, — но вот Оксану Афанасьевну перевели на работу в колхоз, и она перестала наведываться к нам. А тут настал голод. Как быть? Мы ее нашли и попросили о помощи.

— И она откликнулась? Ведь теперь у нее были совсем другие обязанности.

— Конечно, откликнулась. Снова приходила, приносила продовольствие. Во второй раз спасла нас, — подхватывает рассказ сестры Владимир Сулима.

Много добра принесла людям эта маленькая, хрупкая женщина. Оно воспринималось жаждущими счастья славгородцами как само собой разумеющееся, как результат улучшения всенародной жизни, как веление времени. Не все понимали, что любое время олицетворяется щедрыми душой личностями и благодаря им остается в памяти.

Оксана Афанасьевна Топоркова родилась 21 января 1905 года. Революцию помнила хорошо, в свое время побывала в Москве, где ей повезло общаться с Надеждой Крупской. Эта встреча произвела на нее такое сильное впечатление, что она начала копировать прическу, одежду, даже интонации голоса жены вождя. Как председатель сельсовета она имела в своем распоряжении двуколку с извозчиком, и ездила на ней, важно восседая в нарядной белой шляпке. Янченко Макар Матвеевич называл Оксану Афанасьевну не иначе, как «наша Крупская», чем она гордилась.

Оксана Афанасьевна принадлежала к семье коммунаров, переселившихся сюда в 1924 году из далекого Алтая. Ее родной брат Николай Афанасьевич Топорков стал одним из организаторов и первым агрономом коммуны. Именно под его влиянием она в 1929 году поступила к ВКП(б). Находясь в составе коммуны, вела работу с молодежью, работала диктором местной радиосистемы, экскурсоводом. Со временем вышла замуж за Роя Анисима Михайловича.

Когда в 1938 году коммуну расформировали, семья Анисима Михайловича переехала в Славгород — муж Оксаны Афанасьевны занял здесь должность главного механика МТС.

Весть о начале войны застала Оксану Афанасьевну в роддоме, как раз родила третьего ребенка — сына. Вскоре над Днепропетровщиной нависла угроза оккупации. Под руководством областного комитета партии была развернута работа по вывозу экономики из опасных зон. Конечно, всех и все эвакуировать не могли — спешно отправляли в глубокий тыл оборудование предприятий, колхозную собственность, зерно и скот. В Славгороде этими работами руководил председатель местного колхоза им. Фрунзе Николай Тимофеевич Жаран, а ответственность непосредственно за технику МТС возложили на Анисима Михайловича. Оставляли поселок и рядовые жители. Конечно, не все, а кто имел основание и материальную возможность. Первым помогали официально, это были семьи сопровождающих технику и другие вывозимые ценности, а также коммунисты и евреи, кого гитлеровцы якобы не миловали — позже советские люди убедились, что немцы не миловали никого. А остальные обходились собственными силами.

— Мама рассказывала, что быстрое продвижениям немцев на восток вынуждало эвакуирующихся торопиться, а это приводило к плохой организации работ, хаосу на дорогах. Не все из задуманного удалось вывезти — часть имущества мы уничтожили по дороге. Сначала мы телегами ехали на юг. Хорошо, что конец сентября в 1941 году выдался сухим и погожим, — вспоминает дочка Оксаны Афанасьевны Алла Анисимовна Сорока (Рой).

Семья была немалой. Кроме самой Оксаны Афанасьевны, в безопасное место ехали ее мать Акулина Семеновна Топоркова, сестра Александра — инвалид детства, муж Анисим Михайлович Рой, сын Георгий, дочь Алла и новорожденный мальчик.

В Орджоникидзе, что близ Марганца, их остановили и продвигаться дальше запретили — впереди уже стояли немцы. Анисим Михайлович сразу же побежал хлопотать о продолжении эвакуации, а Оксана Афанасьевна взялась готовить временное жилище. Недолго они здесь пробыли, но для горя много времени не надо — здесь заболел и умер новорожденный ребенок. Похоронили мальчика, так и не успев дать ему имя.

Наконец, снова двинулись. Война набирала обороты, все усложнялось, прежде всего не хватало транспорта. Беженцы тянули за собой технику, одолевая трудности, старались добраться до предписанного места как можно быстрее. И поток эвакуированных возрастал, дороги забились в основном большими коллективами, которые вывозили за Урал мощную и дорогую технику, ценных специалистов. Им, конечно, отдавались предпочтения, поэтому славгородцы продвигались медленно, с продолжительными остановками.

Под Сталинградом остановились надолго. Зарегистрировались в местных органах власти, но продолжали искать возможность попасть глубже в тыл.

— Подождите, — был им ответ. — Живите пока что здесь.

Оксана Афанасьевна Топоркова

А немцы все время настигали беглецов. За их спинами непрестанно громыхал фронт, на подступах к Сталинграду сначала слышались отдаленные взрывы, а потом этот звук становился громче, начали различаться автоматные очереди и ружейные выстрелы. И вот война придвинулась вплотную. Всех

мужчин, закрепленных за эвакуированным имуществом, а вместе с ними и мужа Оксаны Афанасьевны, освободили от прежних обязанностей и мобилизовали на фронт. Женщины с детьми и стариками бросили на произвол судьбы государственную технику и другое порученное им имущество, которое не смогли продать. Коров уже не было — часть их они съели еще в дороге, а остальных продали еще раньше. И теперь, освободившись от бремени, взялись спасать собственные жизни. На вырученные от продажи колхозного имущества деньги наняли баржу и переправились через Волгу. Когда плыли, славная река горела, на ее поверхности не видно было волн, не слышно было плескания воды. Все пространство устилал огонь, невысокие языки которого лизали небо черными жирными прядями, — то горел разлитый мазут.

— Война, — говорит Алла Анисимовна, — засела в сознании на всю жизнь, а переправа через Волгу оставила особо яркое впечатление. Я еще долго помнила ее и никак не могла уразуметь, что река — это вода. Мне все время казалось, что река — это огонь. Но как может гореть вода? Того я понять не могла.

На берегу, откуда они бежали, начались кровопролитные бои. К эвакуированным доносились стрельба, грохот пушек, неистовое гудение огня, содрогание земли от падения разрушенных домов, казалось даже, слышались крики тысяч солдат, которые, побеждая страх и жажду жизни, бросались в бой шеренга за шеренгой. Небо над Сталинградом пылало.

Остановились в городке Красный Кут Саратовской области. Здесь Оксана Афанасьевна приткнулась работать санитаркой, а сестра ее Александра Афанасьевна — прачкой в прифронтовой госпиталь. Дора Антоновна Жаран, жена председателя славгородского колхоза, устроилась на работу в пекарню, где имела возможность прокормиться самой и помочь землякам не отощать с голоду.

— Мы уже знали, что отец с войны не вернется, — припоминает дальше Алла Анисимовна. — Нам пришло извещение, что он пропал безвести, но мама говорила, что в таких боях пропасть бесследно нельзя, можно только погибнуть.

В апреле 1943 года освободили Славгород, и Оксана Афанасьевна начала собираться домой. Но вдруг тяжело, неизлечимо заболела ее мать. Поэтому домой поехали лишь сестра Александра и сын Георгий, юноша, которому исполнилось шестнадцать лет. А сама Оксана Афанасьевна с дочкой осталась возле больной, взялась лечить ее. Но лекарство не действовало и уход не помогал. Акулина Семеновна умерла, навеки осталась на чужбине.

Возвратившись в Славгород, Оксана Афанасьевна заняла прежнюю должность в сельсовете. Председательствовала долго, а потом перешла в колхоз, где возглавила партийную организацию. Перед выходом на пенсию работала на заводе «Прогресс» — выдавала рабочим газированную воду, так как автоматов тогда еще не было. На пенсии нянчила внуков.

Умерла Оксана Афанасьевна Топоркова 6 апреля 1994 года в Славгороде, где и похоронена.

…Припомнился Николаю, идущему на срочную службу в ряды Советской Армии, и дядя Яков. О том, что он был главным агрономом колхоза, они с матерью узнали позже. А сначала, овдовев после трагической гибели на рабочем месте Николая Васильевича Сидоренко, первого мужа Анны Александровны и отца Николая, семья решила оставить хутор и переехать в Славгород, где по случайному совпадению купила сякое-такое жилье — времянку именно у этого человека. Как часто бывает, старые и новые хозяева усадьбы познакомились ближе и подружились. Тем более что семья Якова Алексеевича Бараненко поселилась неподалеку — в новом доме на улице Степной.

Свое первое свое родовое гнездо Яков Алексеевич очень любил, а особенно сад вокруг него, который сам посадил и вырастил. Поэтому часто наведывался к его новым хозяевам, помогал вдове ухаживать за деревьями. Весной обрезал их, брызгал, защищая от вредителей. Экспериментировал с сортами, на некоторых деревьях делал прищепы. Николаю, когда мальчик подрос, главный агроном колхоза охотно передал свои знания о деревьях, постепенно переложил на него уход за своим первым садом.

Часто можно было видеть их вдвоем. Николай следовал за Яковом Алексеевичем еще и из-за пасеки. Интерес к пчелам и пчеловодству проснулся в нем рано. Как завороженный, он мог часами наблюдать за жизнью этих полезных насекомых, бегал в степь изучать, с каких цветов пчелы берут больше взятка.

Однажды, когда дяди Яши не было рядом, Николай полез посмотреть соты, и пчелы его беспощадно искусали. Мальчишка попытался спастись вернейшим детским способом — слезами, но облегчение не пришло, и он изо всех сил побежал до Евлампии Пантелеевны, жены Якова Алексеевича. Тетка Евлампия снисходительностью к непослушным детям не отличалась и, прежде всего, угостила несчастного затрещиной, а потом уж разрезала пополам помидор и потерла им ужаленные места.

По сей день Николай Николаевич держит добрую пасеку, собирает мед, которым спасается от болезней и от безденежья. И

лечит пчелиные укусы, когда случаются, тем самым средством, которое показала ему Евлампия Пантелеевна, — свежим томатным соком.

Яков Алексеевич, сколько помнит Николай, имел нрав спокойный, неторопливый, а характер ровный и дружелюбный. Он носил роскошные усы, был молчуном и казался знатоком во всех науках. Растущему без отца мальчишке находиться рядом с дядей Яковом было интересно, надежно, и он хотел во всем на него походить. В семье дяди Якова росли двое сынов чуть старше Николая — Алексей и Петр. Но это не мешало ему чувствовать себя рядом с ними своим. А те, наверное под влиянием отца, воспринимали тихого белокурого сироту как родного. Братья-подростки много работали дома по хозяйству, Николай же крутился рядом и перенимал все, что замечал. А замечал он у них старание, трудолюбие, любознательность, уважение к старшим и умение находить выход из сложных ситуаций. А мало ли их случается в детстве? Одни купания в пруду, где настигают разные неожиданности и досадные приключения, чего стоят. А ночные выпасы коней с костром и печенным картофелем, с рассказами о далеких странствиях и рыцарских поединках! А сенокосы, когда идешь в степь до восхода солнца и возвращаешься на вечерней заре!

Можно сказать, Николай вырос и воспитался в семье Якова Алексеевича. Здесь он мужал, получил первые представления о жизни, воспитал в себе первые привычки. И когда мать, как только он пошел в школу, вышла замуж вторично, воспринял это событие с почти взрослым благоразумием:

— Теперь и у меня будет брат, — хвалился друзьям.

В самом деле, в 1939 году родился Алим, и счастьем для малыша стало то, что он имел старшего брата, целиком подготовленного для его воспитания.

…Николай отстранился от картин прошлого — не до них сейчас, в дороге будет вдоволь времени на воспоминания. Но они не отступали. Перед глазами явилось детство. Показалось, что не так уж и тяжело им с матерью жилось в те черные годы, как-то отступало печальное и горькое, а на его место приходило отрадное. Он понял — бывает, что такая иллюзия спасает душу от безмерных страданий, которых он успел натерпеться, и высвобождает в ней место для счастья.

Признателен Николай был и заводчанам за то, что пригрели его, когда пришел к ним учеником плотника, дали возможность ощутить себя частью сильного, трудолюбивого коллектива. Припомнилось, как в конце августа его вызвали в контору.

— Ты, мальчик, числишься у нас на временной работе, — сказал начальник отдела кадров. — Так вот завтра у тебя будет последний рабочий день.

— А почему?

— Учиться тебе надо, а не работать. Сентябрь уже на носу, в школу пора идти.

Анна Александровна, опять овдовевшая в войну, когда Николай передал ей этот разговор, воскликнула в отчаянии:

— А что же мы будем есть?! Сиротки мои… — заплакала, обняв младших детей.

Так и оставило Николая детство, ибо назавтра он попросил заводское начальство о переводе на постоянную работу. Спасибо, что ему пошли навстречу.

С этого времени он остался там навсегда. И потянулись взрослые заботы — накормить, одеть, защитить, починить крышу над головой, вывести в люди малышей. Денег не хватало, поэтому пришлось перейти в литейный цех формовщиком — там больше платили, была добавка за вредность. Опять ему разрешили, несмотря на то что детям работать на вредном производстве запрещалось. А что было делать?

И вот только хлеба вволю наелись, начали на ноги подниматься, а тут — армия. Брали Николая в Севастополь, на Черноморский флот, где служба длилась пять лет. Мать плакала: было ей страшно оставаться без кормильца. Тосковала и о том, что сын еще не видел жизни, а уже должен был нести трудную мужскую повинность, да еще так долго.

Угощать гостей, приходивших на проводы, чтобы пожелать новобранцу счастливой морской службы, особенно было нечем. На стол поставили варенный картофель, пирожки с тыквой и вишневым вареньем — местный деликатес. Был, конечно, и самогон, а на закуску — сало. Разжились на такой случай. Да и люди приносили у кого что было, приходили, спасибо им, не с пустыми руками, так как знали, куда идут.

Николай не пил хмельного — не полагалось. Был в белой сорочке, перевязанный рушниками, растроганный и торжественный. Так бывает, когда внешне человек вроде является причиной торжества, массового праздника, а внутренне весь уже где-то далеко, всеми мыслями и душой уже находится в пути к новому или при деле, к которому призван. И тут для начала очень важно получить от массы людей, причастившихся к тому великому, значительному, что ждет человека, положительный заряд, энергетический импульс, духовное благословение и побуждение. По сути для того ведь люди и приходят, поддержать

товарища!

И вот перед тем, как отправляться на вокзал и ехать в райвоенкомат, где собирали призывников, Николай пошел по дворам прощаться с дедами, которые сами не смогли к нему пожаловать. В том акте поклонения мудрости его гуртом сопровождали друзья-товарищи из литейного цеха: Тищенко Василий Степанович (Хахак), Тищенко Борис Гаврилович (Борис Заборнивский), Ермак Пантелей Григорьевич (Панько Грицкивский), наставник Тищенко Александр Васильевич. Щебетали девчата, туда-сюда сновала детвора, а Анна стояла за воротами, смотрела издали на сына и вытирала слезы.

Зашли во двор к соседу Тищенко Дмитрию Васильевичу. Жителей с фамилией Тищенко в Славгороде было много, поэтому деда Митьку, местного парикмахера, называли Бэмом.

— Служи честно, предано, чтобы не осрамить родной поселок, наших земляков, — наставлял Бэм.

Слушая его искренние слова, вспомнил Николай, как этот человек едва не оставил его круглым сиротой в 1947 году. И сразу подумалось, что тогда он тоже вел себя искренне. Значит, дело не только в этом, но и в справедливости, которая, как известно, величина относительная касаемо обстоятельств.

А было так. Мать Николая работала на сеялке, стояла на задней ступени и присматривала, чтобы не забился шланг, по которому поступает зерно на высев. В тот раз сеяли просо, нехитрый харч, но тогда и такого не было. Не выдержала бедная женщина, в конце дня выгребла из сошников остатки проса, собрала в узелок и тайком принесла домой. А минут через сорок к ней во двор явилась группа активистов во главе с участковым милиционером Люблянским и местным представителем НКВД.

— Куда спрятала посевной материал?

— Какой? — попробовала открутиться мать, хотя уже не до проса было — очень испугалась.

— Отдашь сама — меньше получишь, а будешь врать — получишь на всю катушку, — пригрозил энкэвэдист.

— Я сама отнесу на ток, я сама…

— Э-э, голубка, поздно. Есть сигнал и мы должны отреагировать. Так-то. Давай его сюда.

Забрали просо, забрали и мать. И судили бы, и пошли бы ее дети нищенствовать по белу свету. Ведь тогда еще был в силе Закон «Об охране социалистической собственности», принятый 7 августа 1932 года, тот самый суровый закон, по которому привлекали к ответственности даже за малейшую провинность. Так были осуждены некоторые славгородцы, живущие на их краю. Например, в 1933 году Федора Алексеевна Бараненко получила

пять лет принудительных работ за горсть колосков и отбывала наказание на Дальнем Востоке. Она всем говорила, что была на каторге. Правда, не все с бабой Федорой было понятно и гладко — явно, ее преступление тянуло на больше, но спасла многодетность. А вот ее мужу Бараненко Семену Ивановичу на том же процессе дали десять лет, тем не менее он отбывал срок поблизости от дома. Судили и Бараненко Степаниду Федотовну. В пору беременности она очень голодала, вот и насобирала на скошенном поле колосков, чтобы хоть зерно пожевать перед сном. Дали ей за это полтора года. После вынесения приговора, когда пришло время ребенку появиться на свет, ее отпустили домой. И хотя новорожденный почти сразу умер, в тюрьму женщину больше не забрали, видимо, скостили срок, а она по дремучести своей этого даже не поняла и считала, что о ней забыли.

Но тетку Анну, мать Николая, в селе знали как человека добропорядочного, незлобивого, трудящегося. Врагов она не имела, в политику не лезла, в бандах не состояла, не воровала, не убивала, не поджигала, не клеветала. А то, что голод заставил искать пропитание, так это что же… Одним словом, пошли тогда соседи к представителю НКВД просить за нее, не побоялись.

— Смилуйся, добрый человек, она же двойная вдова: первый муж, отец Николая, погиб на работе в колхозе, а второго, отца Раи и Алима, немцы расстреляли. Трое сирот останется, трое невинных душ народ потеряет, — уговаривали они энкэвэдиста, удерживающего Анну в каталажке.

Убедили-таки, отпустил он задержанную. И еще хорошо, что тем ходатаям ничего не было, никогда он не припомнил им такой смелости.

А кто донес на Анну за кражу? Бэм, конечно.

— Когда шла домой, встретила только его, паразита, больше никто меня с тем узелком не видел, — призналась Николаю, возвратившись домой после ареста. — Вот что за человек, скажи?

— Да Бог ему судья, — ответил Николай. — Давайте забудем все, как страшный сон.

Так и сделали, постарались забыть тот случай. Поэтому имена своих спасителей боялись узнавать да спрашивать. А потом прошло время, жизнь повернула на лучшее, все злое и тяжелое укрыла непрозрачная пелена забвения.

…От деда Митьки Николай с группой друзей повернул на Степную улицу.

— Наши воевали на фронте ого-го как! — кричал глуховатый дед Баран, Иван Иванович Бараненко. — Глянь вон, — показал куда-то в небо, — на бывших танкистов: Ивана Крохмаля и присутствующего здесь твоего друга Пантелея Грицкивского,

который не даст соврать. Я же не выдумываю, истинно — с орденами эти молодцы вернулись домой. А вот еще, — теперь ткнул скрюченным пальцем в сторону усадьбы Бориса Николенко, — возьми Бориса, орденоносного разведчика, насквозь прошитого немецкими пулями. На него домой похоронка пришла, а он выжил. И не просто выжил, а долг свой выполнил сполна. Все они — орлы, герои! И ты чтобы такички[1]. Не подводи наших, парень.

Борис Павлович Николенко, мой отец, после войны и в старости

— Все может случиться, сынок, — положил Николаю на плечи загрубевшие от работы руки дядя Семен, материн брат. — Но никогда не теряй человеческого достоинства, будь мужественным. Люди не любят слабых, не прощают им того, что могут простить сильному. Значит, держись там.

Было 8 мая 1951 года — канун очередной годовщины Великой Победы. Славгородцы еще хорошо помнили войну, страшное тяжелое время, поэтому провожали своих односельчан в армию, как на трудное испытание, и при этом благословляли на добрую судьбу.

— Подрастешь там, возмужаешь, станешь настоящим человеком, приобретешь знания и практический опыт, получишь путевку в жизнь, — наставляла и мать. Успокаивала его или в самом деле так думала, но слышать такие слова Николаю было приятно. — А мы будем ждать тебя. Может, даст Бог, в отпуск приедешь.

Николай в ответных словах обещал, что будет служить, как полагается, не предаст традиции отцов и дедов. Никому, дескать, не будет стыдно за него, наоборот, в Славгороде будут гордиться тем, что он здесь вырос и жил.

И вот родное гнездо, соседи, друзья и весь Славгород остались позади. Николай вдруг понял, что уже никогда не увидит их такими, какими оставляет. Глиняная родительская хата осядет еще больше, постареет мать, подрастут ребятишки, даже любимый сад, такой густой и плодоносный, станет без него другим. А самое страшное, что кого-то из знакомых уже и живыми не будет, когда он вернется. Пять лет — это очень долго. Он понял, почему мама так тоскливо смотрела ему вслед — она знала разлуки, она опять переживала одну из них.

Стало не по себе. Николай еще не бывал за пределами Славгорода, сейчас впервые куда-то ехал. Ограниченный микрокосм патриархального села выбрасывал своего птенца во внешний мир, и этот птенец нервничал. Даже хотелось плакать, чего он не мог себе позволить. Поезд взял его на разлуку с родным гнездом, время — на испытание жизнью.

* * *

На подходах к Севастополю Николай впервые увидел море, его бескрайность, уходящую за горизонт. Море было спокойным, но в его покое ощущалась непобедимая сила, настоящая очевидная мощь. Это был покой уверенной в своем всевластии стихии, незнакомой и, как казалось, — чужой, враждебной. Душу охватила печаль, такая же холодная, как темная черноморская вода, и такая же неохватная. От нее защемило, загоревало сердце, будто его сжали тисками.

Наконец, доехали. Уже смеркалось, когда новобранцы прибыли на место. Их встретили, привезли в учебный отряд и сразу же вписали в местный режим, быстро накормили и разместили на ночлег. Но к растревоженному новыми впечатлениями Николаю сон не шел. Он крутился на непривычной кровати, узкой и холодной, где не было так уютно, как дома на широком матрасе, набитом свежей соломой. Вслушивался в тишину совсем не такую как в степях, впитывал незнакомые ароматы и старался скорее приспособиться к возбуждающей, волнительной новизне.

Ему казалось, что он и так спит, что вот-вот проснется и снова все будет по-прежнему — весна, зеленые поля, мать, брат-сестра. Исчезнет завывающий, холодный, пронзительный ветер, замолкнут чайки, стихнет грохот прибоя, исчезнет излишек синего цвета, который он привык видеть только на небе, и то — не такой густой.

Утром новобранцев выстроили на учебном плацу и начали с

ними знакомиться. Каждого вызывали по фамилии и спрашивали, какую он имеет профессию, что вообще умеет делать, откуда призван, какое получил образование. Слушая это, Николай удивлялся — разве они ничего не знают о прибывших? Ведь обо всем этом написано в сопроводительных документах. А потом понял, что процедура знакомства нужна не столько руководителям учебного отряда, сколько им, новичкам, чтобы они быстрее освоились со службой, что это и есть ее начало. В конце концов очередь дошла до него. Просмотрев личное дело, капитан сухо сказал:

— Музыкант! На гражданке играл на альт-трубе. Пойдешь в военный оркестр.

— Я бы хотел… — воспитанный заводской демократией, Николай не робел перед начальством. И сначала воспринял слова капитана, как вопрос, а потом понял, что это приказ и осекся.

Капитан изумленно посмотрел на него, улыбнулся:

— Ну, продолжай.

— Я бы хотел… Разрешите приобрести рабочую профессию! — сказал смелее.

— Разрешу, — снисходительно ответил тот. — Какую?

— Хочу быть корабельным электриком.

— Ну-ну, мечтатель.

В Крыму весна была в расцвете. Отбыв в свою первую увольнительную, Николай решил осмотреть город, погулять по его окраинам. День стоял знойный. Разогретый воздух дрожал над прохладной еще землей и плыл в поднебесье тяжелым вязким маревом. С горы, на которую Николай поднялся, виднелись далекие берега, обнимавшие Севастопольскую бухту. Невозмутимая гладь ее величественного вместилища блестела цветом, в котором смешивалась отбеленная голубизна воды с мерцающими серебром пятнами солнца. Воздух дышал ароматами моря и южных цветений.

Во время следующей увольнительной он бродил по склонам предгорий, кое-где покрытым живописными луками, и рассматривал незнакомые цветы. Однажды нашел валерьяну и обрадовался, как будто встретил кого-то родного, сорвал ее, чтобы положить под подушку — пусть напоминает о доме. А возле адониса долго стоял и вдыхал его сладкое благоухание, но срывать не стал — это был слишком редкий цветок, чтобы его не пожалеть.

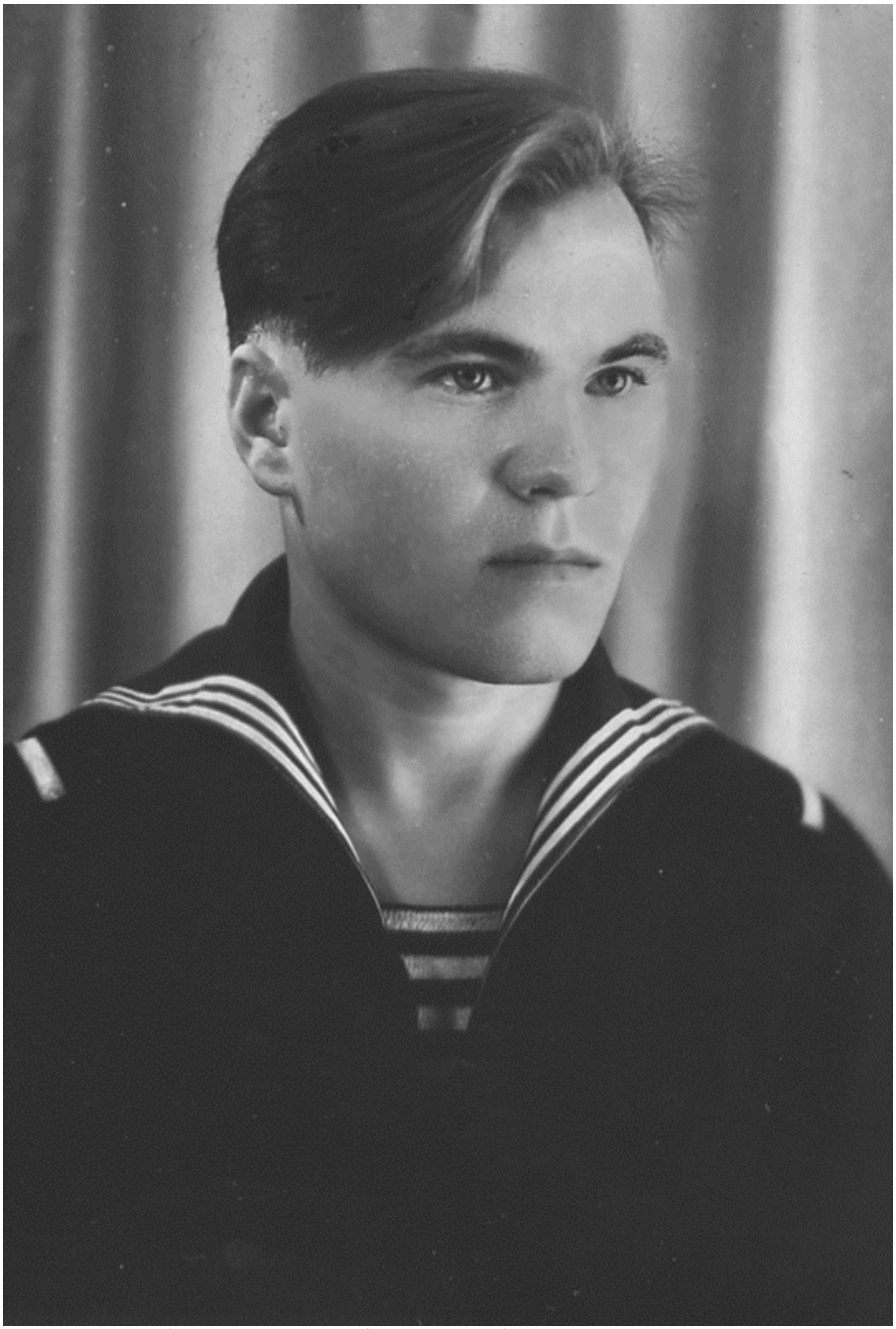
Настало лето. Николай, большей частью находясь на корабле, скучал по прогретой тверди, по мягким травам, даже по горячей пыли на битой дороге. Тоску по степи не удовлетворяли ни красноватые крымские взгорья, ни каменные расселины. Сходя на

суходол, Николай разувался и ходил вдоль берега по раскаленной гальке, обжигая подошвы. После отлива здесь оставались маленькие озерца, и он заглядывал в их крохотные миры, где в ярком свете дня видел разноцветные камешки и миниатюрные водоросли, похожие на смешной детский узор. Здесь он наблюдал танец креветок, медленное движение морской улитки, игру мальков — быстрых, как ветер.

После полугодичной подготовки в учебном отряде Николая направили в электротехнический дивизион на крейсер «Ворошилов».

Началась настоящая работа — служба Отчизне.

ЧЕРНОМОРСКИЙ
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ



Николай Сидоренко (на общем фото — посредине)

* * *

С октября 1944 года Севастополь четвертый раз и окончательно стал главной базой Черноморского флота.

Естественно, это сказывалось на внешности города, на жителях, на ритме всей здешней жизни.

Николай полюбил этот город и был счастлив, что судьба послала ему прожить здесь пять лет, самых лучших в его юности. Море, люди, корабли, эта непривычная осень, мягкая и влажная, не как в степи, — все пришлось ему по душе. Только чайки кричали очень угрюмо и навевали элегическое настроение, светлую печаль, немного болезненную, молчаливую — за чем-то утраченным, давним. И это в его возрасте! Почему? Возможно, потому, что ноябрь, который в этой поре одевал Славгород в багряно-желтое и делал его тихим, задумчиво-торжественным, здесь не изменил краски окружающей среды — в Севастополе так же, как и летом, преобладал синий цвет разных оттенков. Над морем вместе с плотным подолом дождя зависало прозрачное серое сияние. В его свете казалось, что дождь падал через редкое решето и каждая капля округлялась, как бусинка.

Николай любил гулять по набережной и смотреть туда, где на рейде стояли огромные корабли, поднимая своими контурами однообразную линию горизонта. Хотя его, собственно, и не было — далеко от берега море сливалось с небом, образовывало там сплошное марево, от чего мир казался маленьким, запрятанным в волшебный сундучок.

На рейде стоял и его крейсер «Ворошилов» — стальной красавец. Николай переполнялся волшебным, пьянящим настроением, названия которому не знал, лишь намного позже поняв, что это в нем бурлила романтика. Головокружительное время открытий и познания нового смущало его своим приближением. Как хорошо, что он молодой и все лучшее ждет его впереди! Но крейсер «Ворошилов» в его жизни уже есть, и не схоластически, как безосновательные настроения, — счастье из ничего! — а конкретно. Николаю судно представлялось во всем совершенным, законченным. Он убедился в этом, отслужив на нем почти четыре «круга», как говорят моряки, до 25 марта 1955 года, пока крейсер не отправили на переработку. В связи с этим в жизни парня произошло интересное и ответственное событие — принятие из капитального ремонта другого корабля, однотипного с «Ворошиловым», крейсера «Молотов». Это тоже была грозная военная машина со своей боевой биографией!

Николай понимал, что ему посчастливилось, так как далеко не всегда моряку срочной службы выпадает возможность провожать на отдых военные корабли или сызнова вводить их в действие. Поэтому он со своей стороны, как электрик, старался быстро и хорошо изучить крейсер. Его не оставляло удивление продуманностью каждой детали, целесообразностью, образно

говоря, каждой гайки или заклепки.

Однажды припомнился случай из детства, когда на толоку, что расстилалась перед их двором по ту сторону центральной дороги, приземлился самолет. Это был утленький биплан, «кукурузник», как его называли. Но славгородцам он казался вершиной того, что способен создать человек, и посмотреть на него высыпала половина села. Николай не отходил от него. Вот бы теперь те же земляки увидели, на какой технике он, Николай Сидоренко, проходит военную подготовку!

Крейсер «Молотов», как и полагалось, вернулся на военную службу всего лишь как носитель вооружений, но без них — без артиллерийского и минно-торпедного оборудования на борту. Одна из задач по введению его в действие именно и состояла в том, чтобы на учебных стрельбах «пристрелять» пушки, подвергнуть испытанию другое вооружение и потом установить его здесь, оборудовать им военный корабль. Поэтому, когда крейсер выходил на морской полигон, его сопровождал эсминец, несший на себе испытываемое оружие и снаряды к нему.

Теперь Николай не просто наблюдал жизнь военного корабля в союзе с командой, пусть даже и в неординарной ситуации, но также имел редчайшую возможность глубже разобраться в технологии оснащения плавучего носителя оружием, коренным образом понять, что такое крейсер, каковы его функции и роль в системе ВМФ.

Ему постепенно открылось то, о чем раньше не думал, — какая сила стоит на страже мира, как дорого она стоит людям и какое большое и мощное его государство. Николай открыл в себе сознательное отношение к нему, ощутил, что стал настоящим гражданином, защитником своей земли, своего народа.

Иногда, рассматривая крейсер с набережной Севастопольской бухты, он поражался тем, что этот грозный исполин издали казался хрупким и незащищенным произведением искусства, изысканным и трогательным. Сердце Николая провещало, что с ним будет связана интересная молодость и сложные мужские дела. А потом он уйдет в жизнь, игрушечную и приятную в сравнении со всеми военными испытаниями, и понесет с собой признательную память о них.

* * *

На службе Николай впервые встретился с понятием «военная тайна». Оно немного пугало сельского парня и приучало больше помалкивать, меньше расспрашивать и осторожно отвечать на

вопросы. Поэтому он привыкал вести внутренние диалоги. Бывало, задаст себе вопрос, а потом сам же находит ответ. Это определенным образом формировало характер, влияло на метод познания нового, приучало к самообразованию. Николай стал замечать, что лучше воспринимает учебный материал не из устного объяснения, а из книги, когда неторопливо разберется в написанном и хорошенько подумает над ним.

Много лет спустя, в пору учебы на заочном отделении института, он не раз вспомнит, что дала ему служба на военном корабле, какой богатый потенциал заложила в него, качественно изменила внутренний склад души и ума, настроила на поиск, на постоянное усовершенствование, творческое беспокойство, стремление всегда быть в центре перемен и интересных событий.

Так началась его зрелость, так открылся первый ее этап — накопление знаний.

Дни спешили за днями, проходили месяцы. Истек год, а потом и второй. Служба на крейсере была интересной, насыщенной. Лишней муштры матросы не знали, командование относилось к ним по-отцовски: берегло, но и требовало безупречного знания своих обязанностей и безукоризненного их исполнения. Николай привык к строгой дисциплине, и она ему даже нравилась — при продуманном планировании дел можно успеть сделать много полезного в жизни. Он мужал, становился мудрее, рос по службе — скоро стал старшиной, командиром отделения электриков. На четвертом году службы, в августе 1954 года, получил отпуск.

…Последний месяц лета был знойным. Парень мечтал, что, приехав домой, разживется соломой и перекроет хату, подправит заднюю стену, поможет матери выкопать картофель, а вечерами побегает на танцы. Он вез новенькую летнюю форму, в которой еще не приезжал в Славгород. Представлял, как начистит медную бляху, нагладит штаны, ленты на бескозырке и пойдет в клуб — любимое место молодежи. Может, кое-кто и позавидует ему!

О том, что едет, матери не писал — хотел сделать сюрприз. Подъезжал к Славгороду с волнением. В поезде от Синельниково и до своей станции не отрывал глаз от окна — любовался знакомыми видами: садами, милыми сердцу лесными полосами, заботливо ухоженными нивами.

Припомнился предыдущий отпуск, летом 1953 года. Тогда степь и огороды были словно выжжены, такая страшная засуха стояла. Дома картофель чуть вылез из земли, едва поднялся опрятными кустиками и засох. Даже сорняки стояли сухими в прах. Земля потрескалась, было видно, что ее от самой весны сапой не цюкнули — не имело смысла пыль поднимать. Плохие

складывались дела.

Николай знавал горе, ибо его поколению его досталось немало. Ребенком он застал голод 33-го года, потом потерял отца, дальше пришла война, и немцы расстреляли отчима. А в послевоенные годы — полная разруха, тяжелое восстановление страны. И опять беда — засуха и голод. Он еще не успел забыть — весну 47-го года, когда только сошли снега, все вокруг стояло черное и мрачное, а им нечего было есть. Тогда если где-то удавалось добыть горсть зерна, то это был невероятный праздник.

И вот теперь снова неурожай.

В те годы матросам платили за службу больше, чем солдатам в пехоте. И еще дополнительно начисляли, например, за продолжительное плавание в море, за классность корабля. Николай, которому, кроме всего, доплачивали как командиру отделения, вообще получал неплохие деньги. Он не пил, не курил, государство его кормило-одевало, вот и копил рубль к рублю. Была возможность помочь матери с детьми, что он и делал.

Николай отогнал от себя призраки прошлого. И почему оно так, что всегда вспоминается печальное? Ведь сейчас все хорошо. Он настроил себя на праздничную встречу, ободрился и, выйдя из поезда, пошагал домой напрямик через поле.

На этот раз дома был лишь Алим. Ему недавно исполнилось пятнадцать. Мальчишка сидел в холодке под яблоней и, отбиваясь от мух, читал Жюля Верна — «Пятнадцатилетний капитан». А что еще должен читать подросток, у которого старший брат — «морской волк»?!

Алим подрос, стал красивым, даже некоторые диспропорции тела, присущие подросткам, его не портили. Но все-таки оставался ребенком.

— А что ты мне привез? — первое, о чем спросил брата, прыгая вокруг него.

Николай отвесил ему легкий подзатыльник.

— Приве-ез… — передразнил мальчишку. — Где наши, лучше скажи?

— Мама в поле, а сестра на заводе.

— А ты почему дома?

— Я вожу воду пололыцицам, вон за огородом бричка стоит. Сейчас вылью на грядки теплую, натаскаю из колодца свежей и снова айда к ним.

— Ты смотри! — удивился Николай. — Давай договоримся вот о чем. Ты никому не говори, что я приехал. Пусть это будет для мамы радостной неожиданностью.

— Ага! Не скажу.

— Когда вернешься, приберемся в хате, подмажем пол и потрусим его свежей травой, сменим солому в матрасах, наготовим еды, встретим наших тружениц по всем требованиям устава. Согласен?

— Согласен! — потер ладоши Алим.

Вернувшись с работы и увидев желанного гостя, Анна Александровна аж засияла, и уже целый вечер не отрывала от Николая глаз.

— Работы у нас собралось немало, но мы ее с Алимом сами переделаем, взрослый уже, пусть привыкает вести хозяйство, — похлопала мать младшего сына по плечу. — А ты отдыхай, ходи в клуб, знакомься с девушками. Увидишь, какие вокруг красавицы подросли! Может, невестку приведешь.

— Рано мне еще…

Николай был немного зажатым внутренне, казался себе и роста низкого, и телосложения субтильного. В самом деле, он долго был юношески худым и неказистым. А еще не произносил звуки «к» и «л» и в разговоре заменял их соответственно на «т» и «р». Бывало, задираются к нему озорники:

— Ты кто такой? — толкают в грудь, чтобы спровоцировать на потасовку.

— Я Митора Сидоренто, — отвечал миролюбиво, недоумевая, чего они об этом спрашивают, ведь знают его.

Озорники были учениками школы, а Николай сызмала работал на заводе, вот и думал, что ребята, возможно, не знают его и хотят познакомиться. Его непосредственность и доверчивость обезоруживали, все начинали смеяться, и тем заканчивались стычки. Только позже дразнили мальчика — Митора Сидоренто, но он не обращал на это внимания. Теперь на флоте Николай подрос, возмужал, накачал мышцы, закалился. Научился и звуки «к» и «л» произносить.

Эти изменения, пока накапливались, оставались в некоей тени, в частности, когда приезжал в предыдущие отпуска их никто не заметил. Поэтому те отпуска ему и не запомнились, ибо не прибавили ничего нового к внутреннему восприятию как самого себя, так и своих земляков, были лишь возможностью помочь матери в домашней работе и увидеться со своими литейщиками, с которыми не порывал связей. Посещал он и музыкантов духового оркестра, в котором действительно до призыва в армию играл. Приходил к ним на репетиции, наблюдал, слушал игру, а иногда и подменял кого-то.

А перед этим отпуском вдруг открыл для себя, что коренным образом изменился, осознал себя в новом качестве. И рост свой ощутил, и то, что мышцы к новым пропорциям

приспособились, — ощутил. Теперь его пластика стала более природной, движения освободились от угловатости и неуклюжести.

Перед приездом домой Николай успел заказать в ателье военного индпошива модные моряцкие брюки — клеш. Летняя форма моряка состояла из белых брюк, белой матроски и бескозырки с белым чехлом. Но форменные брюки были, во-первых, с прямыми штанинами, а во-вторых, из ткани, которая очень мялась, от чего они быстро теряли форму и опрятность. И моряки, модничая и форся, заказывали себе брюки-колокола (чем шире они были внизу, тем шикарнее выглядели) из белой китайской чесучи.

Материны слова о девушках не пролетели просто так мимо ушей, отозвались в Николае ускоренным сердцебиением. Его потянуло увидеть Тамилу Бараненко, Майю Хлусову, Валю Кондру, Лиду Харитонову — местных красавиц, гордых и неприступных. Правда, когда он приезжал в предыдущий раз, заприметил также Тамару Гармаш, их сверстницу из пристанционного поселка. Ее близких подруг — Валю Молодченко, Надю Халявку — знал давно. Те тоже были с гонором, что не подступись. А вот Тамара показалась ему не такой. Она не кривлялась, не воображала себя принцессой — от нее веяло доброжелательностью, трогательной незащищенностью. Николай познакомился с Тамарой, раза два они вместе сходили в кино. Но рассчитывать на что-то большее он тогда не мог — впереди еще была долгая служба.

Но на этот раз он решил, что коль нравится девушка, хочется ее видеть то, значит, надо идти за влечением души, а там видно будет, куда жизнь поведет.

Дома почти вся работа была спланирована. Завтра он завезет рыжей глины, свежей соломы и половы. Послезавтра измельчит солому, на ней сделает замес и оставит его выстаиваться до следующего дня, а потом обвалькует стены в тех местах, где они вывалились, и оставит подсыхать. А тем временем подправит кровлю. Там работы немного. Перед призывом в армию он капитально ее перекрыл — все снял с крыши, настлал пласт камыша, тщательно подровнял стрехи, а сверху положил солому, терпологами[2] расчесал ее, утрамбовал. Теперь лишь просмотрит, может, кое-где зимние ветры выдергали солому или осенние дожди затекли под нее и она прогнила, тогда восстановит. Через неделю можно будет обмазать дом глиной с половой, а еще через неделю — побелить.

* * *

Отношение молодежи к танцам в те годы было благоговейным, серьезным, как к изысканному самовыявлению, как к поклонению богу музыки, а в его лице и всему прекрасному. Тогда именно танцевали! Достаточно было заиграть оркестру, и молодые тела становились прекрасными, гибкими, появлялись движения сдержанные, грациозные, взвешенные требованиями танца. Это позже начали «ломать» румбу и буги-вуги, а потом, еще позже — танцы превратились на «гоцалки», где лица неопределенного пола, жирные и измятые, в равной мере патлатые и одетые в затрапезные штаны, парализовано дрыгаются в дикарском ритме ударных инструментов. Нынче молодежь и не представляет, что такое настоящий танец.

Танцы устраивались не каждый день, а лишь в среду, субботу и воскресенье. Для них возле молоденького парка соорудили опрятную круглую площадку. Она была приблизительно на полметра поднята над землей и огорожена парапетом, чтобы через него не перепрыгивали безбилетники. Для тех, кто сюда не вмещался или не мог попасть, например из-за отсутствия денег, забетонировали открытую площадку у входа в клуб. Музыка слышна была и тут, так что на качестве танцев это не отражалось. Просто на бесплатной площадке дурачились дети и старшей молодежи тереться с ними боками казалось не солидным.

Постоянным посетителем танцевальных вечеров был родной дядя Бориса Заборнивского Петр Антонович Тищенко, живший рядом с клубом. Он любил молодежь, музыку, веселье, поэтому приходил со своим персональным лозовым табуретом, садился неподалеку от танцплощадки и слушал игру оркестра, смотрел на танцующих, лакомился жаренными семечками и притаптывал ногой, в основном, когда звучала «цыганочка». Зачастую в конце танца восторженно и бурно аплодировал.

Относительно танцев тут существовала местная традиция — в среду их преимущественно посещали женатые люди и те, кто уже приглянул себе постоянную пару и подал заявление в ЗАГС на регистрацию брака. После вечернего киносеанса они собирались на платной площадке и в ожидании музыки удовлетворенно озирались вокруг, подчеркнуто гордясь своими избранниками или избранницами. Затем танцевали обязательный вальс, танго «Цветущий май», «Белая ночь» в исполнении Изабеллы Юрьевой, какой-нибудь фокстрот и расходились.

Суббота тогда еще не была выходным днем, но ее любили за то, что она предшествовала воскресенью и отдыху. Во второй ее половине в душах славгородцев начинали вызревать праздничная торжественность, ожидание музыки, желанных встреч. Звуки оркестра, приятных мелодий доносились до самых отдаленных

уголков поселка, созывали тех, кто задержался на работе, эхом отлетали от посадок, наполняли сельскую тишину умиротворением, окутывали предчувствием неожиданного счастья, чего-то еще лучшего и дорогого.

Пожилые люди важно шли в кино, неторопливо рассаживались в зале, долго выбирая удобные места, так как в билетах они не указывались. Это действо исполнялось особым содержанием и значением, в нем проявляли себя амбиции и отношение сельчан друг к другу. Старики оставались дома, сидели под хатами на завалинках, щелкали семечки, слушали приглушенную расстоянием музыку и молчали или иногда лениво переговаривались, угадывая за скупыми словами, как за паролями, истинные мысли друг друга.

Николай по средам в клуб не ходил — имел не соответствующее тому состояние, да и некогда было. Он распланировал не только работу, но и отдых. Решил сначала сделать все во дворе, а потом отдыхать. Он уже наведался в цех, поговорил с бывшим наставником, с ребятами из бригады, рассказал о себе, короче, отчитался.

Зато в субботу — уже после обеда — собирался в клуб, где хотел не только потанцевать, но и увидеться с музыкантами Юлькой Татаренко, Николаем Бебченко, Сашей Осмоловским, Андреем и Николаем Федорченко.

Николай грел на примусе чугунный утюг и наглаживал на брюках «стрелки».

— Дырки протрешь, — насмехался Алим.

— Кыш, малявка, — отмахивался от брата бывалый моряк.

Для полного шика надо было нагладить такие же «стрелки» и на полочках матроски, причем так, чтобы они совпадали со «стрелками» на брюках. Для этого на плечевых швах и по нижнему срезу полочек матроски имелись специальные метки, выверенные с нижней частью формы.

Соседские девушки, в частности Зоя Тищенко, раззвонили по селу, что Митора Сидоренто снова прибыл в отпуск.

— Отобьет ваших девушек, — небрежно бросила она парням, проходя мимо. — Кра-асавцем стал!

Ребята смеялись, но и мотали на ус, особенно те, кто увивался возле видной тройки подруг — Тамары Гармаш, Вали Молодченко и Нади Халявко. Среди них были Виктор Николенко (Виник) и Николай Тищенко (Митища), которых Николай знал мало, хотя с Митищей и жил почти по соседству. Но те ребята вышли из школьной среды, а он — из заводской. Кроме того, они были младше Николая. Ребята вспомнили прошлый приезд «морячка» и то, что он заглядывался на Тамару, девушку

скромную, смирную, из бедной семьи.

— Этот моряк, — сказал тогда Митища, — закрутит ей голову и уедет, а она будет здесь сохнуть.

— Не выйдет, — уверил Виник. — Вон, Петр Терновский зовет ее замуж.

— Кто такой?

— Шофер из Днепропетровска, прикомандирован к нам на сбор урожая. Да ты же его знаешь! У Мотренчихи квартиру снимает.

— А-а, это Дудлик, любитель пива?

— Ну!

Николай ничего этого не знал — начищенным и наглаженным красавцем появился на танцах. Его стройность подчеркивал тот самый смертельный для девушек клеш, да еще с наутюженными «стрелками». На ногах — белые туфли, модельные, из натуральной кожи. Белая одежда хорошо оттеняла бронзовый загар лица и рук. Моряк — сын воды и солнца!

Тамару Николай увидел сразу — она стояла в кругу подруг. Ее лицо — торжественное и взволнованное — светилось ожиданием и надеждой. Вдохновенное состояние души, приподнятость Тамариного настроения безошибочно связывали с приездом Николая. Да он и сам это заметил, с приятностью для себя.

Поздоровался сдержанно — вдруг лишь кажется, что ему здесь рады.

— Ой, каким ты стал красивым! — воскликнула Лида Харитонова, восторженно взглянув на Николая. Но он не заметил этого. — Снова в отпуск?

— Именно.

— За какие заслуги?

— Стараюсь…

Пока девушки переглядывались и перешептывались, он коснулся Тамариной руки.

— Пошли в кино, — тихо произнес.

— Пошли, — согласилась девушка, и они мгновенно исчезли в тесной толпе молодежи, заполонившей танцевальную площадку.

Первым поднял тревогу Дудлик — красивый парень с открытым радушным взглядом. На днях он признался Тамаре в любви и предложил пожениться, рассчитывал на согласие, а здесь этот моряк приперся. Гляньте, какой! Некоторые говорят, дескать, не паникуй, он тебе не соперник. Подумаешь, что за угроза этот Сидоренто — воробушек серенький. Ага! Какой воробушек? Это, может, когда-то он был воробушком серењким, а сейчас —

альбатрос. Как идет, так все мышцы под одеждой играют, натренированный такой.

— Закрутит ей голову! Что делать? — приставал он к ребятам.

После окончания киносеанса Николая и Тамару ждали решительно настроенные сторонники испуганного Дудлика. Они стояли по обеим сторонам выхода и выпускали зрителей из зала словно из укрытия.

— Иди сюда, поговорить надо, — дернул Николая за рукав матроски Митища, едва тот шагнул на улицу.

Виник тем временем потащил в противоположную сторону растерянную девушку:

— Не волнуйся, мы тебя в обиду не дадим.

— Какая обида? Чего ты прицепился? — отбивалась Тамара, но ее уже окружили подруги.

— Тамара, пусть ребята сами разберутся, — сказала одна из них.

— Зачем тебе этот Николай? Подумаешь, красавца нашла! — добавила вторая.

— Нищета он несчастная, — заключила третья.

Тамара лишь огорошено вертелась по сторонам, ища глазами Николая и с недоумением слушая подруг.

— Он хороший, — защищала парня, который ей нравился.

— А жениться на тебе этот «хороший» собирается?

— Не знаю, мы об этом не говорили…

— Ну вот! Николай — это журавль в небе, а Петр Терновский — синица в руках. Не сходи с ума.

Тамара досадовала на себя, что теряет Николая, что начала встречаться с Петром, подала ему повод рассчитывать на брак. Зачем, дура, торопилась? Но ведь Николай не писал…

Отойдя за угол клуба, Николай оказался лицом к лицу с несколькими верзилами, среди которых заметил незнакомца с лицом, белым от волнения. Он обо всем догадался. Страха в нем не было, так как он знал, как действуют в таких случаях моряки — наматывают на кулак ремень, и отбиваются бляхой, как нунчакой. Безотказное оружие. И опасное, но он не спешил браться за него, успеет, если припечет.

Ребята вели себя агрессивно, были подогреты желанием «проучить наглеца» и заодно размять кулаки. Такое тоже бывает.

— Ты что здесь вышиваешь? — задирались к нему.

— Думаешь, как в матроске, так уже?! — гремел кто-то угрожающе.

— В белом ходишь, да?

— Нашелся аккуратист! — шипели сбоку.

Что-то отвечать было бы смешно, без толку, и Николай просто ждал, когда поток этой риторики исчерпается. Спокойно перебегал взглядом с одного лица на другое.

Затем крики возмущения усилились, к ним прибавились придирчивые издевки.

— В матроске он здесь! А постирать ее не желаешь?

— Гля, еще и молчит! Чего зеньки вытаращил? Щас получишь!

— Ты смотри какой!

Николай молчал. Это подействовало на парней, они выговорились и их задор начал остывать, восклицания стали слышаться реже и реже, теперь его просто рассматривали, иногда комментируя увиденное, будто он был недвижимостью.

— Гляньте, кожаные туфли обул. Стиляга гадский!

— Наутюженный с ног до головы.

— Причеса-а-ался! Нет, таки надо его проучить.

Парни почти что томились, не находя, что еще сказать и как задеть того, кого собрались проучить. И тут случилось то, чего уже никто не ожидал.

— Еще! — вдруг громко сказал Николай и резко поднял руку.

— Что «еще»? — присутствующие будто очнулись, остановили на нем удивленные взгляды.

— Еще хоть слово и я пойду в атаку.

Парни замолчали, застыли, но круга не размыкали. Зато Николай, оценив обстановку, убедился, что искатели приключений почти забыли о предыдущих намерениях. Теперь они просто развлекались дивом. Ему пригодилась наука о выживании в экстремальных ситуациях. И он, своевременно перехватив инициативу, сказал ради шутки, будто ничего и не было:

— Ну, ребята, здорово! — и энергично протянул руку Митище, а тот растерянно ответил ему пожатием. — Вымахал ты, брат, ничего себе! Рад вас видеть, — обратился к другим. — Пошли на свет, посмотрю, какие вы есть.

Говоря это, он заметил, как незнакомец с побледневшим лицом отошел от компании и пошел к девушкам, а вскоре, взяв Тамару под локоть, пошел с ней прочь от клуба. Инцидент был исчерпан.

Теперь Николай Николаевич не помнит, о чем они с ребятами говорили в тот вечер, видно, знакомились ближе, ведь в самом деле мало знали друг друга. Знает только, что встреча превратилась в дружеские посиделки на скамейке в парке. Выбрав минуту, он спросил у Виника о Тамаре и том незнакомце, что крутился возле нее.

— Не мешай, — сказал тот. — У них серьезно.

Стычка — приключение странное и досадное — резко изменила Николая, а может, так совпало.

Через неделю Николай возвратился на свой крейсер, но еще долго вспоминал славгородские события с горечью и печалью, потому что не удалось наладить отношения с девушкой, которая ему нравилась. Он просто ее больше не смог увидеть. Хоть он и понимал, что принуждать кого-то так долго ждать его — жестоко, для этого должны быть чрезвычайно серьезные основания. А их не было.

Был осадок и от поведения ребят. И он успокаивал себя, что они, когда сами пойдут в армию, поумнеют, станут на правильный путь. Так и вышло. Митища — Тищенко Николай Валерьянович — стал известным человеком, специалистом в области права, опытным руководителем, сейчас возглавляет Запорожский юридический институт, ректор. А Виник — Николенко Виктор Константинович — жил в Славгороде, работал на заводе, а потом выехал в районный центр. Сейчас живет в Синельниково, имеет семью, детей — простой рабочий человек.

Николай много думал об этом приезде домой, осмысливал, почему он для него стал определяющим, пограничным в убеждениях. Возможно, настало время прозрений, для которых уже накопилось достаточное количество знаний, и славгородские события послужили лишь толчком к рождению мировоззрения, основных жизненных выводов и принципов? Будто его, обычного юношу, куда-то дели, а на его место пришел уравновешенный человек дела, мужчина, вершитель жизни. Он вдруг понял, что человек только тогда — Человек, когда умеет делать две вещи: принимать решения и отвечать за свои поступки. Понял и то, что в той стычке впервые ощутил в себе власть внутренней воли, холодную сдержанность, сдержанность в неожиданных обстоятельствах, еще многое, что потом стало его настоящим взрослым характером, который он дальше довершал сознательными усилиями. Добро и зло — в их соотношении заложена древняя формула человеческого бытия. Добро большей частью подремывает, а зло пользуется этим и наглеет, пока терпение страдающих от него не перейдет определенной границы. И тогда одни убегают, а другие решаются на поединок и восстанавливают утраченное равновесие мира.

Люди действия… Они обречены находиться посредине между добром и злом. Ведь их скромность не разрешает приближаться к тем, кого они защищают, чтобы не слышать слов благодарности, всегда тягостных для них. И в той же мере их честность не позволяет идти на компромисс со злом, даже поверженным,

побежденным ими. И потому они вдвойне несчастны: от недоверия и страха тех, за кого воюют, и от постоянной ненависти тех, кто вынужден считаться с их силой.

А когда смотрел на высокие морские волны, поднятые штормом, то думал о стихии, которая иногда врывается в чувства людей, охватывает не одно сердце, омрачает не одну голову и способна натворить много бед, если своевременно и грамотно не унять ее. Именно эту стихию он видел в глазах ребят, когда они окружили его. Это ее невменяемая вспышка отсвечивалась в их зрачках. Коллектив руководствуется умом, а толпа — эмоциями, вот чем они отличаются. Итак, ум, как и коллектив, объединенный общей целью, — создает, строит. А эмоции, как возбужденная толпа, — разрушают. Тогда зачем они человеку? Есть ли эмоции у животных? И если есть, то достигают ли они у них масштабов взрыва? Нет, конечно. Животное — оробевшее или обозленное — умеет вовремя остановиться. Значит, человеческие эмоции что-то подпитывает, усиливает собой. Что? Воображение, подсознательная работа ума! Вот и выходит, что внутренний взрыв — это сугубо человеческий недостаток. Круг замкнулся. Вывод: надо научиться уравновешивать эмоции умом, а ум с его непостижимым воображением — силой воли, мудростью души.

О многом думал тогда Николай, в нем будто развязался узелок, и истины — простые и сложные — вызревали легко и непринужденно, логически связывая единой цепочкой причины и следствия событий. Если до этого им руководила природная мораль, естественная здоровая интуиция, то теперь проснулась способность понимать логику жизни и сознательно корректировать себя.

Так начался у Николая второй этап совершенствования — этап воспитания души.

* * *

Последний отпуск Николая выпал на конец лета и начало осени 1955 года. Он любил это время года, когда резко сокращается день, быстро и рано надвигаются сумерки с настойчивыми пронзительными ветерками. Откуда-то берутся скучные дождики и приносят первую прохладу. Небо полнее наливается чистой синевой, а поля — укрываются прожелтью. В саду входят в пору его любимые сливы «венгерки», поздние сорта яблок, а на базаре отливают полосатыми боками арбузы и умопомрачительно пахнут дыни. На грядках еще краснеют помидоры, дозревает морковь, наливаются упругостью головки

капусты. Да что там, куда ни глянь — роскошь!

После нескольких пасмурных и дождливых дней, отделяющих конец лета от начала осени, вверху снова проясняется, снова на небо прытко выкатывается солнце, но уже не жаркое, будто его за это ставили в угол и теперь оно умерило свою дерзость. Оно делается послушным — встает не раньше людей, днем греет землю, а вечером не надоедает, а своевременно прячется за горизонт. Тучи черной пыли, мелкой и прилипчивой, которые поднимались над землей от наименьшего движения воздуха, оседают под ночными туманами, о которых приходит догадка лишь тогда, когда утром на деревьях и на траве поодиночке запестреют капли росы. Это замечательная пора, когда еще не холодно, но уже, наконец-то, и не жарко.

Как и положено, «видавший виды моряк», «укротитель штормов», Николай ехал домой с подарками. Хотя в их семье не привыкли к такому вниманию. Откуда и за какие деньги им было привыкать? Разве что матушка иногда приносила «подарок от зайца» — недоеденную горбушку хлеба или несколько варенных картофелин. А они, малыши, верили, что это зайчик им передал гостинец. Да родственники изредка приносили на угощение запеченной тыквы или маковых бубликов. Вот и все лакомство, все подарки. Но у моряков, и вообще у военнослужащих, в те годы была традиция привозить каждому близкому родственнику хорошие подарки, а маме и дорогой девушке — в обязательном порядке. Маме Николай привез отрез штапеля на платье, сестре — ткань на блузку, а Алиму — модные ботинки, хорошо, что размер ноги у них одинаковый. На всякий случай прихватил еще платок в цветах, газовый шарф, дешевую бижутерию — мало кто придет поздравить его с приездом. Дяде Семену приготовил портсигар.

Себе Николай набрал книг — хотелось весь отпуск читать. Так как он познал вкус к беллетристике, художественной литературе. Сколько есть непрочитанных интересных произведений! Надо наверстывать то, что у него забрала война.

Правда, славгородская молодежь, Николаевы ровесники времени зря не тратили, почти все ходили в вечернюю школу, организовывали диспуты, горячо спорили по многим вопросам. Поэтому он тем более должен был держать марку. И он старался поднимать планку знаний, образования выше сельских друзей, ведь они определенной мерой на него равнялись. Это ощущалось. Он научился играть в шахматы, к чему давно стремился. Теперь принимает участие в соревнованиях на корабле и часто выигрывает.

— «Тайна двух океанов», — взял в руки книгу Алим. — Дашь

почитать?

— Положи на место!

— А дашь почитать?

— Если будешь хорошо себя вести, то, может, не только дам почитать, а даже подарю.

— Ура!! — Алим затанцевал, словно маленький.

Николая это радовало — пусть хоть около брата детство задержится дольше.

— А эту кому ты подаришь? — Алим вынул из чемодана роман Кронина «Звезды смотрят вниз».

— Еще не решил, — честно признался Николай. — Но непременно надо кому-то подарить, — сказал и понял, что лучшего подарка, чем книга, нечего и искать, а он этого раньше не сообразил и набрал черт знает чего. Вещи, что он привез, можно дарить только близким и родным людям. Вовремя его Алим на умную мысль натолкнул!

— Мама, я тебе еще вот что привез, чуть не забыл, — сказал Николай, вытянул и набросил матери на плечи платок в цветах.

— Ты меня балуешь, — засияла иметь. — Спасибо, сынок. Никто мне подарков не дарил и не дарит. Только ты один.

— Ну так! — смутился Николай.

После праздничного ужина по случаю его приезда Алим снова оттащил его в сторону от гостей.

— О тебе девушки спрашивали, — сообщил с многозначительным видом.

— Какие?

— Ага! Скажи тебе, так ты сразу из дому убежишь. А мне с тобой побыть хочется. Соскучился. Знаешь, я тоже буду моряком. Я ребятам слово дал.

Николай засмеялся, сказал:

— Причем здесь ребята и твое слово? Тебя не возьмут!

— Почему это меня не возьмут?

— Ты ростом не вышел.

— Ха! Ты, когда шел служить, вообще шкетиком был. А сейчас, вон, вымахал как. И я подрасту! А ты, я знаю, теперь дома не усидишь, — снова заулыбался Алим. — Побежишь на танцы, чтобы узнать, кто о тебе спрашивал.

— А разве ты мне не собираешься сказать?

— Нет. Так что, моя правда?

— Дудки, в течение первых дней я и со двора не выйду, — засмеялся Николай, прикидывая, за какой срок он управится с домашней работой.

А ее накопилось немало: надо было снять со стеблей и почистить кукурузные початки, выкопать свеклу, собрать тыквы.

Позже, ближе к концу отпуска, уже можно будет срезать капусту. С огорода необходимо выгрести сухую ботву, подсолнечные и кукурузные корни, вскопать грядки, обрезать и обкопать деревья. Двор давненько не мели, везде было замусорено, валялось лишнее хламье. А кроме выместить и вычистить его надо вывезти мусор в балку и закопать. До этого у матери, видно, не доходили руки.

— Спорим. На что? — прыгал вокруг Николая Алим.

— А на что бы ты хотел?

— Если проиграешь, то отдашь мне свою морскую форму. Идет?

— Запросто! — засмеялся Николай.

Так и вышло, что Николай вышел со двора в последние дни отпуска и Алим проиграл. Но он знал, что все равно после службы брат отдаст ему и форму, и много кое-чего другого, о чем он и не мечтал. Николай видел, что Алим стремится иметь старшего товарища, хочет побыть рядом с сильным, самостоятельным мужчиной, набраться от него уверенности в себе, внутренней энергетики, перенять некоторые черты поведения взрослых мужчин. Это было неосознанное стремление, интуитивное, оно шло от здоровых инстинктов, что и прекрасно. И Николай посвятил брату много времени, привлекал его к работе, говорил с ним на разные темы, рассказывал о серьезных вещах, необходимых для жизни юноши.

Алим шел в десятый класс. Поэтому первое сентября 1955 года было такой же ответственной датой, как и в 1946 году, когда для него прозвучал первый школьный звонок.

— Как хорошо, что ты сейчас дома. Пойдешь со мной в школу? — спросил Алим.

— Если не возражаешь, пойду.

В Севастополе была традиция принимать школьников в пионеры на борту боевых кораблей. Николая трогали эти торжества, ведь в его детстве никаких праздников не было.

Прием школьников в пионеры на борту линкора «Новороссийск»

На празднике первого звонка он давно не был, так как свое, довоенное, забылось. В самом деле, как судьба предусматривает все до мелочей! Вот если бы он пришел в этот отпуск чуть раньше, то не попал бы с Алимом в школу, не сделал бы приятное ему и сам не увидел бы, как его брат вступает во взрослую жизнь. Эта мысль согрела Николая, и он ощутил, что на него возложена важная миссия — быть образцом для такого же выросшего без отца мальчишки, как и он сам. Его родной отец трагически погиб на колхозной работе в 1934 году, когда на него свалилась со скирды ледяная шапка, а Алимового отца в 1943 году расстреляли немцы.

Около школы бурлила человеческая толпа. Конечно, преобладали дети, но почему-то маленькие дети, совсем маленькие. Они стояли по периметру дворика двумя шеренгами, с цветами в руках, с разноцветными флажками. В девчоночьих косичках виднелись яркие ленты, а мальчики вымахивали лентами в воздухе, как змейками. Одеты все были скромно, ощущалось, что в семьях славгородцев еще царили бедность и нужда. Но приподнятое настроение людей создавало атмосферу уверенности в завтрашнем дне, наполняло оптимизмом и надеждой.

Николай не знал большинства учителей, только с интересом присматривался к ним. Сначала выступил директор школы

Дробот Артем Филиппович, у которого ощущалось белорусское произношение, такое потешное, чудное: «А когда окончите школу, пойдете на виробництво. Это так ответственно, что как же вы не видели!» — напутствовал он учеников выпускного класса.

Потом слово взял завуч школы Половной Василий Матвеевич. Говорил сложно, грамотно, конкретно. Последним к будущим выпускникам обратился классный руководитель Пиваков Александр Григорьевич. Не знал тогда Николай, что пройдет чуть больше десяти лет и они с Александром Григорьевичем будут вместе писать исторический очерк о Славгороде в энциклопедию «История городов и сел Украины».

В конце концов внимание присутствующих переключилось на малышей. Слово дали воспитательнице детского сада, которая привела своих воспитанников в первый класс. Бог мой, да это же Лида Харитонова! У Николая перехватило дыхание, такой она выдалась ему важной и серьезной. Он слушал ее и думал, что знакомство на танцах не дает полного представления о человеке. А вот когда наблюдаешь его в работе, видишь плоды его труда, тогда уж длина косы или стройность тела отходят на второй план, а на первом остается вдохновение души и ума. Ее детки, как колокольчики, читали стихи, обещали хорошо себя вести, высказывали восхищение школой и будущей учебой, благодарили садик за годы, прожитые в нем.

Алим посадил на плечо первоклассницу Тамару Бочарову с медным школьным звонком в руке, натертым до золотого блеска и перевязанным красной атласной лентой. Девочка старательно трясла им. Они обошли выстроенных прямоугольником школьников, и вдохновенные переливы звонка летели далеко за пределы школы, долетали к тем родителям, которые не смогли прийти на линейку.

По окончании торжественной линейки Лида первой протянула Николаю руку.

— С приездом, моряк, — приветливо улыбнулась она. — Это уже насовсем?

И голос у нее был теперь совсем другим нежели на танцах, каким-то деловым, уверенным, осознающим свое значение. Или это ему только казалось, что девчонки кичатся, мнят о себе, а на самом деле они заняли устойчивое положение в жизни и знали себе цену — оттого в них чувствовались и гордость и независимость?

— Нет, еще полгода буду качаться на волнах.

— О! Что те полгода? А я спрашивала о тебе у Алима.

Николай аж задохнулся. Он и подумать не мог, чтобы им интересовалась эта красавица и, как оказалось, еще и умница.

Довольные дети теперь с уставшим видом возвращались в детсад, отпраздновав начало обучения своих старших товарищей. Они смирной колонной шагали по дороге, а Николай и Лида сопровождали их, медленно бредя по обочине и разговаривая.

— Не представлял себе, что воспитательницы детсада бегают в клуб на танцы, — ни с того, ни с сего сказал Николай. — Вот чудеса!

— А кто же, ты думал, туда ходит?

— Не знаю. Думал, что там бывают просто девушки, вот и все.

На следующий день он, будто ненароком, встретил Лиду, когда та возвращалась с работы домой.

— Устала? — спросил.

— Не так сильно, чтобы отказаться от прогулки.

Они подошли к ее двору, не прячась от прохожих, соседей, не кроясь от любопытных взглядов резвых глаз — для Николая это были важные мелочи, которые говорили о Лидином серьезном отношении к нему. Лида заскочила в дом переодеться и принарядиться, а Николай ждал ее и ни о чем не думал. Ему сделалось легко и беззаботно, будто он долгое время куда-то шел с тяжелой ношей, но вот, в конце концов, избавился от нее. Из дома выскочила Лидина мать и побежала на огород выгонять кур из свеклы. Она махала руками, кричала свое «Кыш, проклятые! Куда это! Ну-ка!», и при этом бросала косые взгляды в его сторону, делая вид, что улица, где он топтался, ее не интересует.

Николая обдало теплой волной ожидание чего-то приятного. Он отвернулся, чтобы ненароком не встретиться с женщиной глазами, и не услышал, как к нему подошла Лида.

На землю опустились сумерки и отодвинули любых свидетелей в тень, окутали Николая и Лиду уютом и непрозрачной пеленой звездной поры. Только нагретый за день ветерок неутомимо вился вокруг, отирался возле них, разносил во все стороны благоухание моря от Николая и тонкий аромат духов од Лидиных волос. Невысокая, пухленькая, она оказалась интересной собеседницей, хорошей рассказчицей, смешливой и остроумной. Николай вдруг стал таким красноречивым, каким никогда не был, он живописал морские приключения, картины штормов, борьбу с разъяренной стихией. А больше всего восторгался своим крейсером. Он сыпал морскими терминами, не замечая того, что девушка их не знает, а потом спохватывался и начинал длинные и путаные объяснения.

— А ты как живешь? — спросил, придя в себя.

— У меня все более буднично. Один день неотличим от другого, и так неделя за неделей уплывают месяцы и годы.

— А работа?

— Работу свою люблю, — уверенно сказала девушка. — Это единственное, что наполняет мою жизнь смыслом.

Последние дни отпуска пролетели быстро, Николаю надо было возвращаться на крейсер. Невольно он подытоживал отпуск и констатировал, что в течение его произошло две важных вещи: во-первых, он ближе познакомился с Лидой, а во-вторых, — почти физически ощутил, что военной службе приходит конец. Что-то большое и дорогое входило в его судьбу и что-то очень ответственное и значительное завершалось, подводило черту под пройденным. Прошлый период жизни, которого он так боялся в начале, теперь не просто уходил, а оставлял по себе ощущение неповторимости каждого дня, каждого мгновения.

Николай тогда не знал, что тягчайшие испытания морем и службой для него еще впереди, и психологически одной ногой уже оставался дома, прикидывая, в чем должен найти себя здесь, в каком деле. Большой мерой на это наталкивала Лида. Как бы там ни было, а их встречи настроили Николая на другую жизнь, на другие заботы. Между ним и крейсером отныне паутинкой пролегла разграничительная черта, невидимая, но ощутимая сердцем. И этой чертой морские его друзья отодвигались в даль отшумевшего времени. Это беспокоило его. «Как я буду без них?» — думал Николай, и ему казалось, что без моря, без крейсера, без команды он ничего интересного в мире не найдет и не откроет, не разглядит и не поймет. Становилось жутко. Что он значит один, что он один умеет, что может? Как прожить жизнь, если лучшие годы — годы дружбы, мужской солидарности, объединенных усилий, годы совместных познаний и открытия мира — уйдут? Зачем жить, к чему стремиться, о чем мечтать?

Он размышлял о своем завтрашнем дне в раннюю пору, когда мать, поднявшись ни свет ни заря, уходила на работу, а Алим еще спал. Николай подходил к окну, смотрел на небо и видел синее пространство, разорванное белыми прядями туч, исчерченное траекториями птичьих летаний. Та утлая динамика изменений даже приблизительно не напоминала море, всегда бушующее, плещущееся, неугомонное. Все, что происходило в небе, было беззвучно, немо, безголосо. Разве что птицы недолго покричат, да и то те звуки ветер воровал у людей и относил куда-то, где они затихали, обрывались совсем. Тишина. Великая тишина степей. Ныне она страшила Николая, так как в ней подозревались бездеятельность, бесцельность существования, равнодушие холодной вечности, что пролегала так далеко в грядущее, где и его уже не было. Он терялся в ней, как теряется песчинка в пустынях. Он не знал, за что зацепиться, чтобы прирасти к земле,

к людям, к делам, чтобы быть нужным, и жить так же интересно и содержательно, как было на корабле. Пять лет из памяти не вычеркнешь, за спину не бросишь, не оторвешься от них рывком без того, чтобы не причинить себе боли.

Это Лида разбудила эти ощущения, хотя они со временем непременно пришли бы и сами, но она, как катализатор, ускорила в нем созревание разлуки, которая скоро должна свершиться, разлуки с морем, с крейсером, с колыбелью его возмужания. Ускорила боль расставания и вместе с тем высветила ее, чем подала надежду, что она будет преодолена. Она принимала на себя его муки, связанные с отвыканием от морского коллектива, бралась перевязать обезболивающим чувством любви разорванную пуповину, крепко соединяющую Николая с боевыми обязанностями, строгой дисциплиной, устойчивым образом жизни, ответственностью за долг перед страной. Конечно, эти качества и в обычной жизни нужны, но здесь и там они измерялись разными мерками. Поэтому он благодарил судьбу за встречу с Лидой, которая беспокоила и успокаивала его, резала по живому сегодняшний день и вместе с тем помогала преодолеть отчаяние от грядущих перемен, связанных с демобилизацией.

После раздумий и тихих страданий он понял, что на военной службе успел узнать настоящую дружбу, чувство взаимовыручки, причастности к крепкому коллективу, к суровому мужскому делу. А любовь, семья, дети? Они еще не пришли к нему! А ведь это не менее важные реалии, чем те, которыми он занимался до сих пор. Это было великое открытие, и оно пришло вовремя. Оно должно было компенсировать потрясение от резкого изменения смысла жизни, ждущего его после завершения службы.

Проведенные с Лидой вечера должны были стать прологом к будущим дням, к неизведанным чувствам Николая, к его новому месту среди людей.

— Будешь писать? — спросил он, когда девушка провожала его на вокзал.

— Конечно.

Лида подарила ему свою фотографию, где застыла на стуле среди замечательного зеленого лета. Нарядная шляпка дополняла наивную обворожительность юности.

Лида Харитонова, сентябрь 1955 г.

Часть 3. Надежда, которую предали

Письма из дому… как много они значили для военнослужащих срочной службы! Это были тонкие паутинки, органически объединяющие в одну цепочку их детство, юность и взрослую жизнь. Благодаря этим хрупким, эфемерным связям в сознании ребят, возможно, впервые оторванных от родителей, не перерывался поток времени, сохранялась логика и последовательность жизни. Не возникало ощущения случайности, ненужности или большой продолжительности службы, исчезала мысль, что она — это что-то аномальное или второстепенное, не достойное добросовестных усилий. К ним — незакаленным, не покрытым защитной чешуей от ударов инородных, непривычных впечатлений — в письмах долетали и материнская забота, и тепло родительского очага, и девичья пронзительная нежность. Получая письма, ребята служили Родине спокойно и с полной отдачей.

В первый год службы письма из дому или от любимой девушки помогали не затеряться среди людей, не утратить собственную индивидуальность, спасали от ощущения одиночества, еще не вписавшуюся в новую среду душу. Только тот, кто не оставлял обжитый уголок, не уезжал далеко от своего гнездышка, кого судьба не забрасывала в пестрый калейдоскоп новых обязанностей, не способен оценить значение писем из дому. Еще и на втором году, когда пообвыкшие к новому состоянию парни уже побывали в отпусках, причастили к своей новой судьбе тех, кто их ждал дома, протоптали стежку туда-сюда, письма из дому оставались важной психологической опорой в тяжелые минуты. На третьем и четвертом «круге» службы те письма, как весточки из прошлого, тешили мальчишеское самолюбие, развивали и утверждали в них чувство хозяина своих мужских дел, отучали от детского исполнительского прилежания и вместо этого воспитывали ответственность за свои действия и решения: вот, у них была другая жизнь, простая и теперь далекая, но они чего-то стоили в ней — они оставили там частичку себя и их помнят, их там любят и ждут. Они там не были лишними, они там нужны, без них там кому-то неуютно и грустно. Это добавляло молодым мужчинам уверенности в себе, внутренней значимости, повышало их самооценку, без чего невозможно одолевать препятствия и побеждать капризы судьбы.

А в «дембельский» год голоса из писем звали их домой, помогали преодолеть капризы новых перемен.

В минуты свободных раздумий Николай вдруг начал

смотреть на матросский, военный свой опыт, словно со стороны, с дистанции. Он осознал ценность морской дружбы, понимал, что уже никогда не случится ему пережить то же самое, что он пережил здесь, никогда он не будет ощущать себя частью такого сильного целого, могучего монолита, как ощущал здесь. Уже никогда не попадет он в мужской круг сверстников, спаянных в исполинский организм — умный, мобильный, задорный. Ты, может сдаться, растворяешься в его огромности, теряешься, но понимаешь, что это искажения ограниченного человеческого восприятия, что на самом деле без тебя здесь что-то очень нужное не состоится.

Вместе с тем Николай ощущал, что накопленное на службе знание останется в нем навсегда и в полном объеме. Так как он не был винтиком своего гигантского крейсера, а был его душой и хранителем, его руководителем и другом. Он все о нем уже знал, равно как с его помощью успел все понять о себе. А еще он научился подчинять себя общим целям, устремлениям и интересам более высокого порядка, чем частные интересы человека, находящегося вне коллектива или вне большого государственного дела. И если раньше просто не думалось о ничтожных возможностях кочки, оторванной от глыбы, то теперь истина о частном и всеобщем открылась ему, и он ощущал потребность в коллективном начале, стремился гармонично войти в сплав соратников. В таком сплаве и заключается человеческая сила. Но так как надежно соединяется лишь подобное друг другу, то надо, чтобы в его окружении не было бесполезного и чтобы он был нужен людям. Теперь он научился быть таким сильным, как вся команда корабля, и таким умным, как техника, которой он управлял. Теперь он чувствовал себя готовым жить и работать достойно.

Размышляя подобным образом, он наконец понял, что советники нужны ему до определенной поры, пока он колеблется или барахтается в сомнениях. А затем он укреплялся духом и действовал самостоятельно. Он не мог сваливать ответственность на близких ему людей, требовать от них отваги решений, ведь это не каждому по силам и не у каждого был в жизни такой, как у него, крейсер и такая команда, чьей силой и мудростью он напитался. Импульс, полученный на военной службе, этот толчок к вечному совершенствованию, он должен не потерять в себе, только тогда успеет сделать то, ради чего появился на свет.

А еще у него было сердце, нуждающееся в чувствах, светлых переживаниях, бурных эмоциях, в счастье. Это — неоткрытый остров в нем, таинственная terra incognita. Она привлекала к себе, звала, заманивала. И Николай с готовностью отвечал на Лидины

письма, описывал по ее просьбе море, каким оно бывает в штиль и в шторм, какие при этом приобретает цвета, как звучит. «А еще здесь есть птицы, непохожие на наших степных, — чайки, — писал он девушке. — Они предсказывают погоду лучше метеорологов, о чем говорится в моряцкой прибаутке:

Чайки ходят по песку — рыбаку сулят тоску,
И пока не сядут в воду, штормовую жди погоду».

— Товарищ старшина, а тебе начали чаще приходить письма, еще и с незнакомым почерком, — говорили матросы его отделения.

— Заметили, негодники. За командиром «шпионствуете»? — шутливо отмахивался он.

— Правильно, надо привыкать к гражданской жизни, о женитьбе думать, — говаривали те, кто уже задумывался об окончательном сходе на берег.

— На свадьбу позовете? — смелели другие парни.

— Да еще речи нет о свадьбе, — сознавался Николай, не обращая внимания на слишком неофициальный тон.

Он и сам старался разобраться в том, что их связывает с Лидой. Она давно нравилась ему, но он и предположить не мог, что когда-то приблизится к ней. Смешно теперь даже вспоминать, что раньше он не воспринимал Лиду как личность. Она была для него красавицей, да и только. А когда увидел ее с ребятишками, внимательную к ним и сдержанную, серьезную и ответственную, в нем будто все перевернулось. Девушка была умной, уравновешенной, степенной. Значит, он совсем не знал ее, и вот имеет возможность узнать ближе. Поэтому Николай старался не навязывать в письмах к Лиде свою откровенность, не пугать ее натиском признаний, не беспокоить планами на будущее. Понимал, что еще будет время поговорить обо всем, осмотреться, заглянуть в себя, лучше освоиться в мире чувств — незнакомом до сих пор и волнительном, узнать, что оно такое — любовь.

Несмотря на то что Николай дослуживал последние месяцы, работы не убавилось, даже наоборот, насело множество необычных и спешных забот.

Во-первых, в 1955 году советский флот переходил с пятилетнего срока службы на четырехлетний, и в первую волну демобилизации 1956 года вместе с Николаем оставляли корабль не только моряки 1951-го, но и 1952-го года призыва. Береговые училища не справлялись с двойным потоком слушателей, который шел к ним на замену уходящих в запас. Выход нашли в том, что часть новобранцев поступала на крейсер, обходя

обучение на берегу и их приходилось учить профессиям на месте. Это было новое для Николая дело, нештатное, ведь эти новички имели только знания со средней школы, а их не хватало для полноценного выполнения обязанностей электрика. Да и учить других Николаю было в новинку.

Во-вторых, жизнь экипажа все еще оставалась чрезвычайно насыщенной, так как на фоне обычных штатных обязанностей, от которых их никто не освобождал, он продолжал принимать в строй вышедший из капитального ремонта крейсер «Молотов» и оснащать его бортовым оружием. Это было не просто новое событие, довольно редкое на флоте, а важнейшие из вообще возможных в мирное время. Свободные минуты выпадали редко. Рабочий день матроса и так всегда полностью расписан, а тут еще это…

И вдруг на них сваливается дополнительно обучение новоприбывших! Вообще уникальная ситуация, никогда раньше не происходившая! Ответственное дело! Его как-нибудь не сделаешь. Опять же — обычным расписанием оно не предусматривалось и, естественно, теперь происходило за счет еще большего уплотнения времени, чем раньше, за счет увеличения интенсивности работы и частично за счет отдыха.

Такие накладки! Немыслимая круговерть! Она утомляла, выбивала из колеи, из более-менее устоявшегося ритма. Дни исчезали быстро и незаметно.

И в довершение всего — вдруг случилось несчастье, страшная трагедия с линкором «Новороссийск», омрачившая Николаю свет солнца, всколыхнувшая резкую боль, что уже начинала затихать после войны! Эта беда снова разбередила адское ощущение потери, перевернула все виденное и знаемое до этого, по-иному расставила приоритеты и ценности жизни. Он и счастлив был тем, что кормовую аварийную бригаду с «Молотова», в которую он входил, направили на помощь «новороссийцам», что он собственноручно спасал, вытягивал из смерти своих побратимов-моряков, и вместе с тем всей силой души проклинал миг, когда грохнул взрыв, проклинал тех, кто совершил это преступление. Как он может быть счастливым после этого? Он, еще не соблазненный любовью, уже знал в себе ненависть. Разве это нормально? Когда-то Леся Украинка писала:

> І тільки той ненависті не знає,
> Хто цілий вік нікого не любив.

Какую любовь она имела в виду — гражданскую, сыновью или любовь к женщине? Кого или что он успел так полюбить, что

теперь горит ненавистью к варварам, к грубой, дикой силе? О, как он алкал мести! Как тяжело было знать, что он не бессилен, а не волен совершить ее! Он ходил, как больной, смотрел пустыми глазами на койки двух матросов, двух ребят из его электротехнического отряда, утонувших в холодной пучине вместе с «Новороссийском». Что из того, что они устроили здесь уголок памяти погибших? А как смотреть в глаза матери, той латвийской женщине, которая добилась разрешения посетить последний приют сына?

Та женщина провела в кубрике один час, и все 60 минут отчаянно плакала, причитая.

В памяти Николая всплыл расстрел сто пятидесяти восьми славгородцев в марте 1943 года, родных ему людей. Он припоминал, как они с мамой искали отчима среди растерзанных, теплых еще тел, как потом везли его телегой на кладбище, как хоронили в мерзлый грунт. И тогда это казалось ему сном. Казалось, что вот он проснется, и убедится, что это сон. Но самое сильно впечатление, отчеканившееся в душе навсегда, никогда не казавшееся сном, а остающееся ужасной правдой, — был крик Прасковьи Яковлевны Николенко. У нее на глазах немцы убили Евлампию Пантелеевну Бараненко, ее мать, — единственную женщину из всех расстрелянных. Убили прямо во дворе, под грушей, где она стояла, заламывая руки к Богу и моля пощады для своих детей.

Услышав крики и не подозревая, чем они вызваны, Николай, побежал к дяде Якову, где любил запросто пропадать на пасеке, подбежал и увидел… Запечатленная картина по сей день стоит перед глазами, будто он навсегда остался там, изваянный жутью. А за воротами все еще стоял немец, сделавший роковой выстрел. Он не успел опустить винтовку, и хищное дуло, казалось, искало новую жертву, примерялось к появившемуся во дворе Николаю, обмершему перед происходящим. Мальчишка загипнотизировано смотрел в четную точку и не двигался.

— У-и-и!!! Ой-и-и!! — неслось из уст охваченной горем женщины. — Изверги! Нелюди! — кричала она и зажимала рот рукой, боясь, что немцы поймут ее слова и отыграются на трехлетней дочке, стоящей рядом.

Из пробитого виска тети Евлампии струилась черная, густая кровь и растекалась по затылку, шее и лицу, а оттуда попадала на руки ее дочери, успевшей подбежать и обнять убитую за голову, напрасно стараясь заглянуть ей в глаза и увидеть там проблески жизни. Вытирая слезы, бьющаяся в горе женщина наносила красные мазки на свои щеки, пряча в ту материнскую плоть проклятия и стон беспомощности, ненависти и жажды мщения. И

то было последнее, чем могла защитить ее Евлампия Пантелеевна, последнее — утопить в своей крови дочкину крамолу, бунт, а значит, — смерть.

— Дайте, — хрипела потерявшая силы Прасковья Яковлевна, — умере-е-ть!

Все остальные звуки терялись и глохли в этом на всю вселенную несущемся то ли вое, то ли стоне, таком тоскливом и долгом, что он казался составной частью войны, пожаров и страшных кончин.

И дрогнул немец-убийца. У него забегали глаза, задрожали руки. Он как-то косолапо шаркнул одной ногой и метнулся вниз по улице — догонять тех, кто вел на расстрел собранных по дворам мужчин. А вокруг — никого. Потом где-то далеко прозвучали немецкие команды, а еще позже послышался «Интернационал». Это пели те, кого немцы уже сбили в кучу для расстрела.

«За что мне это все, за какие грехи?» — Николай сжимал голову, а в его ушах вызванивали, усиливаясь, а потом затихая навсегда, звуки «Варяга», песни, которую пели под водой «новороссийцы», обреченные на смерть от удушья. Чего еще он не познал, не прочувствовал? Каких еще мук не испытал, каких трагедий не видел, не слышал, не представлял?

Ему тоже теперь хотелось умереть, ибо не верил уже, что лихое время отступит. Казалось, нет, он не выдержит своей боли, вот выйдет на палубу, поднимет глаза к звездам и взорвется атомным грибом протеста, удушьем кручины и развеется над миром смертельными миазмами бессильной злобы к врагам.

Но надо держаться. Он брал в руки фотографию Лиды, часами вглядывался в ее улыбку и понимал, что это и есть спасение — защищать ее, чтобы она всегда улыбалась, чтобы не знала, из какого ада он к ней пришел. Есть, есть беспечальные миры, он просто не нашел к ним путей, но Лида его поведет туда, она знает дорогу. Она заживит его раны, зашепчет, исцелит. Она изменит, переиначит его судьбу, окропленную горькими полынями.

Дни Николая, что и до этого были донельзя спрессованы, теперь слились в один черный день. Он не помнил, когда спал и спал ли вообще, не заметил, что он стал реже отвечать на письма. И если бы на это не обратили внимание его товарищи, то неизвестно, как бы оно было.

— Что-то твоя девушка стала реже писать, — сказал как-то почтальон.

— С чего ты взял?

— А что здесь брать? То, бывало, я тебе почту через день

приносил, а теперь как раз в неделю наведаюсь, так и хорошо.

Николай с минуту припоминал, когда получил последнее письмо, а потом развел руками:

— Ты прав. Как летит время!

Через несколько дней, в очередном увольнении на берег, он случайно встретил земляка, который тоже служил в Севастополе. Николай его мало знал, так как тот жил не в самом Славгороде, а в пристанционном поселке. Познакомились они уже здесь и виделись всего несколько раз. При встречах говорить фактически было не о чем, и они из вежливости перебрасывались общими фразами.

— Что нового? — спросил земляк.

— Как всегда, все идет законным порядком. А ты как?

— Еду в отпуск!

— А радуешься чего, что он на январь пришелся? — Николаю странно было видеть радостное лицо, удивительно было сознавать, что жизнь продолжается, что при таких страшных событиях на флоте кто-то переживает счастливые мгновения.

— Что ты понимаешь? У меня там девушка — огонь! — воскликнул земляк. — В какие хочешь морозы согреет.

— О! — оживился Николай. — Будь другом, передай моей девушке подарок. Когда ты едешь?

— Да вот иду на вокзал! Чудак ты, не видишь, что ли?

Только теперь Николай обратил внимание, что земляк был с набитым чемоданом в руках и в брюках-клеш, которые моряки надевали исключительно в отпуск. Он быстро нашелся:

— Здесь за углом есть книжный магазин. Давай зайдем, я куплю книжку, — предложил земляку.

Книг оказался такой большой выбор, что разбежались глаза. Но время-то поджимало. Пришлось обратиться к продавцу за советом.

— Возьмите «Мужество» Веры Кетлинской, — показала книгу стоящая за прилавком женщина. — Роман выдержал проверку временами. Он написан еще в 1938 году, но по сей день переиздается. Здесь рассказывается о жизни и любви, о комсомольской стройке. Там такие страсти! Книга только что поступила в продажу и очень хорошо расходится.

— Ладно, — сказал Николай. — Беру!

Он быстро подписал книгу, попросил красиво ее упаковать и протянул земляку.

А спустя месяц земляк сам нашел Николая и отдал книгу назад.

— На, забери. Хай ему черт, выполнять деликатные поручения, — сказал мрачно, отводя глаза в сторону.

— Что, не отдал?

— Отдавал. Не взяла, — парень немного помялся, а потом отважился сказать правду: — Ты, друг, не грусти. Вышла замуж твоя девушка, как раз я на свадьбу попал.

— За кого?

— За Юрия Полуницкого.

— Ха! — только и сказал Николай. — А я здесь при чем был?

— Что, недолго встречались?

— Долго знались, да мало любились, — вспомнил Николай слова из песни.

В тот вечер он раньше обычного возвратился из увольнительной, собрал Лидины письма, разложил их в хронологическом порядке и начал перечитывать, стараясь между строк найти объяснение ее поступку. Может, пропустил какой-то намек за теми горькими событиями? Но ничего не нашел — были лишь радушные, искренние вести из села, написанные грамотно, доверчиво, тепло. С фотографии Лида смотрела на него с той самой улыбкой — то ли лукавой, то ли заговорщицкой. Николай перевернул снимок и впервые вчитался в надпись: «Для Николая. 12.09.55 года». Все!

Он понял: девушка писала ему не больше чем как другу, находящемуся далеко от дома и ждущему весточки из родного края. Лида была подругой Тамары Гармаш, знала, что в предыдущий отпуск надежды Николая на взаимную любовь не оправдались. Вот и не хотела оставлять без ответа его внимание к ней. Пожалела… Вот душа нечистая!

А с Юрием она, конечно, любилась давно, если бы нет, то дождалась бы Николая, он уже сидел на чемоданах, через неделю должен был ехать домой.

Исчезла, пропала, усохла последняя надежда на исцеление от боли, на спасение от страданий, на светлую и беспечную радость. От этого шока к Николаю вдруг — клин клином вышибают! — начала возвращаться жизнь. Он, как дерево, поваленное бурей, снова цеплялся за нее, прорастал новыми ростками, из глубины трухлявого мрака протягивал их в мир солнца и света. Видишь, рубанула топором прямо по живому, убила возможность уцелеть, вгрызться в счастье! Так неужели это хрупкое и тихое создание уничтожит его душу, его веру в людей? Нет.

Это была та капля горя, которая переполнила чашу страданий. Чаша перевернулась и вылила их из себя. После таких потрясений человек или умирает, или возрождается, как Феникс, начиная жизнь сначала. Николаю выпало второе, и он ощутил, что у него есть силы, чтобы устроить себя, что его спасет неисчерпаемый дух выживания.

Раздел 2. ИЗБРАННИКИ МОРЯ: ЮРИЙ

Часть 1. Встреча с будущим

В нашем классе мальчишек с именем Юра не было, как не было и среди младших ребят, и среди старших по возрасту школьников. Я вообще раньше его не встречала, и оно казалось мне загадочно-прекрасным, нездешним, неразгаданным. А когда неожиданно слышала где-то в разговорах или читала в книгах, то думала — какие они на самом деле, эти парни с именем Юрий? Что мне рисовало воображение, теперь не помню, но что-то же рисовало, это точно, потому что имя мне нравилось.

Окончив школу, я поступила в Днепропетровский государственный университет. Тогда к его названию добавлялось — «имени 300-летия воссоединения Украины с Россией». Выбрала механико-математический факультет. Как видно из названия, он состоял из двух отделений: математики и механики. Может, я и выбрала бы отделение математики, кабы там не готовили будущих учителей, а я не хотела работать в школе. Поэтому пошла туда, где готовили механиков (специальность 2014 по государственной классификации университетских специальностей). Эта специальность оставалась традиционной для классических университетов, была чисто научной, а не инженерной. Именно она придавала всему факультету интеллектуального веса. Да, там мы изучали сложные, но интересные предметы, берущие свое начало в астрологии и ведущие к современным наукам, таким как единая теория поля, теория физического вакуума и т. п. Полученные знания развивали в нас логику, склоняли к философскому восприятию мира. Но я немного забежала наперед.

Кстати, о городских и сельских детях. В нашей группе я была единственная, приехавшая из деревни, и, как кур в ощип, сразу попала в новую для себя среду, где все было другим. В том числе и имена. Имя Юрий носили три сокурсника, но здесь оно просто потерялось в сонме более экзотичных для моего уха Мариков, Ааронов, Азариев, Изиков, Гариков и Соломонов, словно я перенеслась в Цфат XV века, где собрались премудрые книжники для переосмысления библейских истин в свете халдейской Каббалы. В стенах университета действительно веяло старинными откровениями, слышалось пение песков под палящими лучами солнца, стояла интригующая атмосфера специфичных знаний, приравниваемых к тайным (по сравнению с ними пресловутые «страшилки», такие как математический анализ и сопротивление материалов, — просто семечки). А окружающие меня студенты и преподаватели были похожи на людей из тех притягательных

легенд. Острое ощущение своего извечного родства с этой средой волновало душу, будило генную память и наполняло желанием больше знать о своих предках, об их забытой во времени стране, культуре, родившейся в Месопотамии. Я растерялась от шокирующих впечатлений и ревностно погрузилась в учебники по механике.

Юрий Семенович Овсянников, мой муж (внизу — весна 2009 года в Крыму)

Однажды, когда я в читальном зале готовилась к первой экзаменационной сессии, вгрызаясь в математический анализ, ко мне подсел староста нашей группы. Естественно, я его знала. И знала, что парня зовут Юрием, но это как-то проходило мимо меня. А тут вдруг впервые что-то толкнуло меня и заставило обратить на него внимание. Что-то нечеткое, струящееся из глубокого детства, всплыло в памяти, невнятно волнуя и беспокоя. В воображении примерещились какие-то образы тех лет, прекрасные, желанные. Сердце забилось в предвкушении внезапной, неожиданной находки кого-то очень дорогого, давно ожидаемого. Только все происходило наоборот, как говорят в математике — от противного. Бывает же такое! Вместо высокого роста, длинных ног, карих глаз, что виделись на утонувших в детстве горизонтах, — средний рост, плотное телосложение и глаза цвета рассерженного моря. Только руки, о которых у меня не было никаких представлений, поразили тонкой красотой и изяществом. Эти руки с длинными и почти прозрачными пальцами твердым почерком писали на чистых листах бумаги многоэтажные формулы математических доказательств, растолковывая мне непонятные места. Это «все наоборот» моя душа приняла с удовольствием и обрадовалась. С тех пор имя Юрий, Юра, Юрочка стало родным, самым прекрасным в мире. Позже я вспомнила, когда впервые услышала его, и чей образ

невнятно ассоциировал с ним.

Это было давно, очень-очень давно.

Часть 2. Нити чужой судьбы

Летом 1956-го года, когда я окончила второй класс, родители, за неимением лучшего, записали меня в каникулярный кружок для детей, остающихся без присмотра, почему-то называемый «школьной площадкой». Видимо потому что функционировал при школе. Он был делом неожиданным для наших учителей, организованным впервые, исключительно на общественных началах и по указке свыше — ввиду требований новой жизни. Действительно, наступали времена, когда все взрослые начали работать и в семьях исчезли домохозяйки. Это происходило столь стремительно, что ни государство, ни предприятия не поспевали с развитием сети детских лагерей отдыха, более того — на детский отдых еще не предусматривалось финансирование. Вот и пришлось школам брать на себя удар.

Главная задача «школьной площадки» заключалась в том, чтобы не позволять детям шататься по улицам и искать приключений с плохим концом. И здесь вопросов не возникало. А вот чем с детьми заниматься, какие виды досуга развивать, в какие игры играть, как увлекать полезным трудом, наконец чем кормить и где мыть руки — все это не имело ответов.

Со стороны моих родителей это был шаг отчаяния. Кажется, они не верили, что я в кружке задержусь надолго. Доказательства были убедительными — я никогда не ходила в коллективные туристические походы, не принимала участия в массовых развлекательно-спортивных мероприятиях, на что уж пионерлагерь был соблазном для многих, а я и туда ехать не хотела. Не компанейской девочкой росла, что было то было.

Но, на удивление, в школьный кружок я пошла. Откуда папе и маме было знать, что я пожалела их: видела же и понимала, что меня некуда приткнуть.

В кружке мы, несчастные жертвы каникулярных обстоятельств, должны были находиться с восьми утра до пяти часов дня. Опять рано просыпаться, целый день быть на людях, не иметь возможности заниматься своими делами… Какое издевательство!

Я брала с собой книгу, чтобы читать, и корзинку с рукоделием, чтобы вышивать, но заняться своими делами там не могла. Помню только страшное однообразие часов, долго и вяло тянувшихся, как вол по дороге. А еще помню жару, ничем не объединенную толпу детей разного возраста, пыль школьного двора и сухие бутербродики, что каждый приносил из дому и

съедал в первые же утренние часы, а потом до вечера мучился голодом.

Да, долго я не выдержала, на второй или третий день со своей одноклассницей Лидой Столпакова отпросилась домой.

— Мы пойдем к нам, — пояснила Лида воспитателям, которые и сами понимали, что нам лучше быть на свободе.

— С вами будет кто-то из старших?

— Да, моя старшая сестра Оля, — сказала Лида.

До этого — в течение первых двух лет обучения — я с Лидой практически не общалась, а здесь познакомилась ближе, и она соблазнила меня возможностью открыть нечто доселе незнакомое. Что? Ощущение погруженности в большой мир, не суженный ни школой, ни кругом родных.

Лидину многодетную семью в школе хорошо знали. Знали обстоятельства их жизни и то, что у них на хозяйстве находится старшая сестра Оля. И нас отпустили.

Оля жарила камбалу. Уже целая гора пожаренной рыбы лежала на широкой тарелке и расточала вокруг очень вкусные ароматы. Рядом помытыми боками блестели домашние помидоры, розоватые, но не перезрелые — в самой поре. Темнели огурцы, испещренные колючими пупырышками. Все, что я видела здесь, привлекало, хоть на первый взгляд трудно было сказать, чем. Дома мы не голодали, всего было вдоволь, и дом у нас был свой, не «казенный» — просторный и светлый. Но чего-то, однако, не хватало. Может, живого духа?

Мои родители много работали и приходили домой только переночевать. Я скучала по ним, по маминым свежим котлетам, борщам, по папиным рассказам о прочитанных книгах. Мне хотелось домашней атмосферы, роскоши совместного дыхания, разговоров друг с другом о том, о сем. У нас такое случалось только в выходной день или на праздники. А здесь было постоянно. Уют и ощущение теплого человеческого очага в семье Столпаковых создавала Оля, маленькая домохозяйка, которая нам казалась опытной и авторитетной во всех житейских вопросах.

Она пригласила нас полакомиться перышками камбалы.

— А тушки оставьте нашим кормильцам, — предупредила на всякий случай, чтобы мы не забывали об основном предназначении жареной рыбы.

— Ого! — испугалась я, оторвав широкий боковой плавник и увидев, что от рыбы остался лишь маленький кусочек. — Если мы это поедим, то что же останется вашим кормильцам?

Оля рассмеялась.

— Ешьте, ешьте, им хватит.

— Как-то мало остается, — сомневалась я.

— Перышки вообще перед жаркой положено обрезать, — сказала Оля, чем меня и убедила. Она, как и Лида, немного шепелявила, и это придавало ей особую привлекательность.

Оля только нам, малышам, казалась взрослой, на самом деле была подростком, старше нас на шесть лет. Недавно ей исполнилось пятнадцать. Она была даже моложе моей сестры, но мою сестру дома удержать можно было разве что с помощью привязи…

Дети Прокопа Ивановича Столпакова осиротели в 1952 году, когда его жена, Анна Моисеевна умерла от застарелой малярии. Моей однокласснице Лиде тогда было всего пять годков. Хотя старший сын Александр и отошел жить отдельной семьей, а старшая из дочерей — Нина — уже работала на кирпичном заводе, но легче Прокопу Ивановичу не стало, ведь с ним оставались Иван, Андрей, Николай, Оля и Лида.

Анна Моисеевна болела давно, и ясно было, к чему идет дело. Но ее мужу все казалось, что наступит время, когда вместо хинина, который уже не помогал, ученые изобретут другое, более действенное, лекарство, и она поднимется. Бывало, мечтали вдвоем, как выучат детей, отправят их в люди, помогут устроиться в жизни, а сами заживут уединенно. Не судьба. Пусть бы уж личное счастье не состоялось, так ведь и мечта о том, чтобы дать детям образование, не осуществилась. Теперь на ней и подавно был поставлен крест.

Овдовев, Прокоп Иванович собрал детей на совет, как быть дальше. Ведь Нина стала уже девушкой на выданье и имела право тратить заработанные деньги лично на себя: собрать приданое, выйти замуж. Ей исполнился двадцать один год, она и так — по меркам села — засиделась в девках. А что ей было делать, когда в семье сложились обстоятельства, не позволяющие покинуть на больную мать малых братьев и сестер? Еще при Анне Моисеевна Нина вынужденно взяла их под свою опеку. Но может, сейчас ее надо освободить и отделить?

— Будем жить по-прежнему, — сказала Нина Прокопу Ивановичу на этом совете, — одной семьей. Я не уйду из дому, пока последнего из детей не поднимем.

— Искалечишь себе жизнь, — отклонил ее предложение отец. — Нет, беги от нас, дочка, и подальше. Мы как-то без тебя попробуем. Правда, без посильной материальной помощи я все же не обойдусь, — и он непроизвольно повел глазами в сторону других детей.

— Как вы будете без меня? Кем эти птенцы вырастут? — показала на Николая и Лиду. — Да и за Олей еще присмотр нужен.

— И я еще поработаю на общий котел, — сказал Иван. — Моя женитьба тем более подождет, если Нина о себе так решила.

Отец посмотрел на Олю, которая на глазах стала взрослой, будто не одиннадцать лет ей было, а все двадцать. Оля, в отличие от старших детей, проявляла в учебе незаурядные способности, и ему очень хотелось дать ей хорошую путевку в жизнь.

— Мне бы только семь классов окончить, — сказала девочка, — а там и я пойду работать.

Забегая наперед, скажу, что ей тоже не много счастья выпало: после окончания семи классов осталась в родительской семье домохозяйкой, пока Николай и Лида не перешли в старшие классы, а потом встретила своего суженого, пошли свои дети. Какая уж там учеба?

Прокоп Иванович смотрел на своих детей, так трогательно преданных друг другу, и его запекали слезы, но нельзя было плакать. Вот шесть пар глаз уставились на него с надеждой и поддержкой. Кто же из них выбьется в люди, кто узнает счастье? Не знал тогда, что только Лиде удастся окончить среднюю школу, а позже — заочно — и педагогический институт, увидеть другие страны.

Это было в 1952 году.

А теперь расцветало лето 1956 года. Со мной была новая подруга Лида, ее веселая сестра Оля с перышками жареной камбалы, а впереди — целое лето привольной жизни.

* * *

Назавтра мы с Лидой повторили свой трюк, и он нам снова удался — из «школьной площадки» нас отпустили под Олину ответственность. С более близким знакомством мы покончили еще вчера. Всякие заботы о еде — о, камбала! о, жаренные перышки! — тоже утряслись ко всеобщему удовлетворению, и единственное, что оставалось, — говорить о любовных тайнах и страшных случаях. Их Оля знала великое множество, к тому же умела мастерски рассказывать.

В их доме была деревянная лежанка — совершенно чудный, универсальный предмет меблировки. Для сна она, скорее всего, не использовалась, судя по всему, а служила каким-то вспомогательным столом. Под ней нашла постоянное пристанище кухонная утварь, а сверху, затиснутое в угол, грудой возвышалось выстиранное постельное белье, требующее глажения, пара утюгов и предметы для шитья — ручная швейная машинка в гнутом фанерном футляре и корзины с лоскутами-нитками.

Чтобы не путаться под ногами, не мешать рассказчице, мы с Лидой подвинули все это добро еще дальше в угол, уселись на лежанку и затихали. Наши ноги не доставали до пола и свободно свисали вниз, иногда покачиваясь на интересных в рассказе местах. Оля, увлеченная собственными историями, рассказывала, не отрываясь от приготовления еды и мытья посуды (только за этими занятиями она мне и запомнилась). Не знаю, сколько раз слышала Олины побасенки Лида, но она не крутилась, как бывало на уроках, а тихо и прилежно слушала.

В моем детстве хватало талантливых рассказчиков, так что слушать я умела.

Вечерами мои молодые родители частенько «подбрасывали» меня бабушке Наталье, Наталье Пантелеевне Ермак, — маминой родной тетке по матери. Бывало, что и ночевала я у нее. Меня и свою внучку Шуру бабушка укладывала на полатях над русской печкой и вместо сказок начинала рассказывать были да небылицы. И такие хоррорные, что мы прятались под свои одеяла, свивались там клубочками и надолго затихали, почти задыхаясь от недостатка воздуха, но не высовывали носов наружу. Скованные цепями мистического ужаса, мы просто не смели дышать, не могли пошевелиться, у нас начисто замирало ощущение самих себя. Одно желание в те минуты владело нами — притаиться так, чтобы никто не догадался о нашем существовании. Сама же бабушка, сухая и маленькая, как привидение, зажигала керосиновую лампу, ставила на стол, садилась в круг ее света и чинила постельное белье, одежду, чулки-носки, занавески на окна и так далее.

— Заберет вас баба яга за непослушание, — обещала, если мы долго не засыпали.

Потом мы затихали, окончательно переставали подавать признаки жизни. Герои бабушкиных рассказов творили разное: мужья-злодеи изводили из жизни надоевших жен, злые ведьмы выдаивали молоко у соседских коров, любовники-убийцы преследовали доверчивых девушек и женщин. А разная природная нечисть творила свои бесчинства: лешие водили людей окольными путями, русалки затягивали в омут влюбленных без взаимности девушек, мавки сводили с ума парней, плели запутанные интриги домовые. И только святые угодники предотвращали преступления, хоть и не всегда успешно.

Свет от лампы и бабушкино тыканье иглой спасали нас от сущей смерти — все же вокруг нас как-никак теплилась жизнь, в которой сохранялось нечто безопасное и мирное. Преодолев первый испуг, мы вживались в легенды, преображались в героев

бабушкиных выдумок, всегда почему-то, выбирая образы гонимых и обиженных, а затем под ее голос засыпали, вздрагивая от видений, продолжающих нас преследовать и по ту сторону реальности.

Любила развлекательные тары-бары и моя родная бабушка по отцу Александра Сергеевна Николенко. Фамилию Николенко она взяла от второго мужа, папиного отчима, за которого пошла замуж, чтобы во времена борьбы с троцкизмом скрыть свое иностранное прошлое. А настоящим ее избранником был Бар-Диляков Павел Емельянович — потомок многочисленного ассирийского рода, мой дедушка. С ним она объездила полмира. Где только ни была! Знала Париж и Неаполь, более десяти лет жила у своей ассирийского свекрови в Багдаде, затем имела собственный дом в бессарабском Кишиневе.

Истории бабушки Саши были не вымышленными, а вытекали из собственных приключений и завораживали реальностью. Под их журчание разгорались желания скорее вырасти, самой увидеть большую и разнообразную заграницу, сладко мечталось о путешествиях, о будущем. Из них я узнавала о дальних странах, о жизни других народов, совсем не похожей на нашу, о чужих обычаях и религиях, о том, как они возникли. Все же иногда и эти пересказы переплетались с мифами.

Это бабушка Саша поведала, что до рождения Христа на земле жил Зороастр — самый древний из всех пророков, впервые догадавшихся, что бог имеет человеческий облик, а его архангелы — это всего лишь человеческие качества, такие как Праведность, Доброта, Бессмертие, и другие. И я умилялась умником Зороастром. Впрочем, недолго. Позже я забыла его ради нашего Спасителя Иисуса.

Неимоверно ругаясь и рассыпаясь проклятиями, бабушка Саша вспоминала о моем дедушке, а также о жизни колбасников, булочников, обувщиков, портних и других ремесленников, обслуживающих их в пору проживания за границей. И мне казалось, что я тоже буду богатой, свободной в действиях и желаниях.

Но самым непревзойденным мастером устного слова оставался в памяти мой отец Борис Павлович Бар-Диляков (позже Николенко), романтик и фантазер. Он пересказывал книги, которых читал очень много. Это были популярные тогда романы о шпионах, документальные произведения о путешествиях в экзотические страны (сейчас на память приходит только Даниельссон, но он, безусловно, был позже, а еще «В сердце Африки») и на полюса Земли (одна «Жизнь и приключения Роальда Амундсена» чего стоит!), набирающая силу научная

фантастика. Специально для меня перечитал всего Жюль Верна, Майн Рида и Фенимора Купера.

Книги были дефицитом, за ними стояла очередь. И он доставал их через десятые руки — всего на два-три вечера. В такие дни мы с мамой не планировали большой работы, быстро справлялись с текущими делами, готовили вкусную еду, тихо и торопливо убирались по дому, чтобы ничем не загружать папу, а самим скорее освободиться. Наконец мы усаживались и весь вечер до глубокой ночи слушали куски прочитанных папой книг. Бывало, мы уже были готовы, а папа еще дочитывал. Тогда мы надоедали ему своим нетерпением: когда да когда. И он просил:

— Еще парочку страниц осталось, подождите.

Я говорю о непревзойденном умении отца очаровывать слушателей не потому, что он мне родной человек и я желаю его прославить, а потому что он был не просто мастером устного слова, но еще и артистом. Свои рассказы он превращал в театр одного актера. Все роли исполнял сам-один, причем для каждого персонажа выбирал отдельные голосовые интонации и мимику.

Вообще отец был способен к любым перевоплощениям. Иногда копировал земляков, выделяющихся из толпы нравом, яркими индивидуальными чертами характера, а то и просто чудаковатостью, заядлым враньем. Как ни странно, но таких людей есть много. Отец все замечал, запоминал и часто веселил компании, в которых бывал, жизненными историями из своих наблюдений или воспоминаниями о каких-то происшествиях. Куда там было тем прообразам! Отец их так копировал, что люди скорее слушали его, чем тех, кого он изображал.

Те, кто попадал в папины побасенки, становились героями местного фольклора, приобретали славу, которой и гордились и пользовались. Подчас, обращаясь в официальные инстанции, они называли не свои настоящие имена, а те, под какими были изображены в папиных рассказах. И это встречало благожелательно-снисходительное понимание. Двери перед людьми, обладающими такой веселой и оригинальной славой, открывались быстрее и шире.

По сути говоря, первые сведения о славянской демонологии и более широкой мифологии, популярные сведения, находившие хождение в устном народном творчестве, пришли ко мне от бабушек. А широкий мир во всех его проявлениях — от жизни первобытных народов до описания нетронутых уголков земли и звездных скоплений на небе — мне открыл отец.

Рассказы Оли не были похожи ни на какие из вышеперечисленных. Она повествовала о людях, которых я знала, о земляках, об их жизни и тайнах, о предках и забытых случаях с

ними. И если мой папа юморил и копировал чудаков, то Оля была серьезна, говорила с придыханием восторга или с теплом сочувствия. Ее бы послушать Барбаре Картленд или Джуд Деверо, чтобы писать свои исторические любовные романы еще лучше! Темы были разные: один тяжело заболел и долго лечился, другой имел несчастную любовь, третьему попалась злая теща, четвертый радовался неожиданному появлению родного человека, долго не возвращавшегося с фронта, кто-то сто раз женился и все невпопад… Фактически Оля, не имея ни знаний, ни умения, ни возможности быть русской Барбарой Фритти или Даниэлой Стил, делала доброе дело — создавала новые мифы, превращая и воплощая текущую жизнь славгородцев в бессмертную память, в народное достояние. Конечно, количество известных Оле сюжетов оказалось ограниченным и вскоре их запас иссяк.

Мы заскучали.

— А кто это? — спросила я, нащупывая новые темы для бесед, и показала на стену, где висел портрет молодого человека, не подозревая, что касаюсь еще одной легенды.

Собственно, это был юноша. Но военная форма и серьезный вид добавляли авторитетности его молодым летам. Он был снят в полный рост на фоне моря, а вдали виднелись корабли, казавшиеся мне легкими, как воробьиное перышко.

— Это Нинин жених, — мрачно ответила Оля.

— А почему в черной раме?

Но Оля промолчала, ничего не ответила. Интуитивно я почувствовала неловкость: или я спросила что-то не то, или спросила не так…

— Как его зовут? — упрямо выруливала я на нейтральную полосу.

— Юра. Юрий Артемов.

Сестры Столпаковы — Оля (в белом) и Нина

* * *

Маме стало известно, что я не посещаю школьный кружок, а гуляю у Столпаковых. Вечером третьего дня она появилась там с хворостиной, и все время, пока мы шли домой, хлестала меня ею.

— Это же надо, так меры не знать! Ты чего сидела у чужих людей целыми днями? У тебя совесть есть или нет? — сопровождала экзекуцию словами негодования и риторическими вопросами.

Я молчала, не скулила, не оправдывалась, только сопела, втягивала воздух учащенным от обиды дыханием. И молча брела с понурой головой, спотыкаясь, когда меня подталкивал вперед резкий посвист хворостины.

— Несчастье, не ребенок. Чего ты надоедала людям три дня подряд?

Что я могла ей ответить?

Хворостина послушно оставляла на коже красные борозды, болевшие так, что со мной едва не приключались конвульсии. Мысли, бурля в непроизнесенных, оставленных в себе словах, опережая друг дружку, росли как грибы после сильного дождя, прокладывали между собой стежки первых успокоений, доказательств и выводов. Пришла уверенность: если бы эта

хворостина досталась мне до Олиных откровений, то я сейчас голосила бы изо всех сил и уверяла маму в том, что слушала интересные рассказы, а не просто баклушничала. Теперь же ничего объяснять не могла: во мне еще не завершился процесс усвоения услышанного. Из моих слуховых центров печальная история о Нине и Юре растекалась по другим отделам мозга, превращаясь там в жемчужину моих базовых достояний, в конце концов, в часть меня самой. Не могла же я, в самом деле, рыдать и приговаривать о том, что во мне зрел и обогащался Человек. Если что-то в тебе растет, то должно болеть, — так я интерпретировала розгу, припоминая, с какой болью новые зубы прорезали мои десна, как наливались и болели груди.

Все, доверчиво поведанное мне в минуту печальной девичьей растроганности, не могло быть разглашено при первом туманце, первой темной тучке в судьбе. Оно естественным образом входило в мою материальную сущность и так же становилось моим собственным сакралом, который я никому не открывала исходя из представлений, что этого делать нельзя.

А еще я поняла, что море — это опасная для человека стихия, порывистый неверный друг. Пусть сколько угодно будет приятно, что оно есть рядом, но лучше его не трогать. И вот я, родившаяся под созвездием Рака, любившая плескаться, вообще любившая воду превыше всего, начала бояться ее чрезмерности, ее обилия. И начала не злоупотреблять ее глубиной. С тех пор, не доверяя этой стихии, я так и не научилась плавать. Я купалась в струях дождей, а не в ставках, что было безопаснее и более гигиенично, а также создавало мне романтический образ, чему завидовали сверстники, а взрослые только пожимали плечами.

Нет, и поныне не догадывается моя мама, как своевременно устроила мне взбучку и как тем принесла пользу: отвлекла мои впечатления от боли из-за чужих душевных страданий, которые для меня — маленькой еще и очень впечатлительной девочки — были тяжелы и этим опасны, и перевела внимание на безопасную боль — боль собственных банальных синяков; а также, в конечном итоге, инициировала упрочение моей бесстрастной памяти об этих трех днях. Да и как могла мама знать тогда, что это ее непослушное дитя заронило в себя такое зерно, которое полстолетия будет вызревать, а потом выскочит урожайными ростками воспоминаний, таких дорогих по сути? И это будет не услышанное или вычитанное свидетельство, а — свое, окропленное потерями. Но кто знает о завтрашнем дне? Небось, одни только дети, безошибочно запоминающие самое то, что им пригодится, от чего случится просветление души, которое позже, гляди, и мудростью отпочкуется.

К счастью, тогда я была еще именно ребенком.

* * *

Нина, самая старшая Лидина сестра, может и училась бы лучше и среднюю школу окончила бы, так мама все время хворала, а дети в семью так и сыпались, как с неба. Поэтому девушка сразу по окончанию пяти классов вынуждена была идти работать.

У теперешнего читателя может возникнуть вопрос, как могли таких малых детей допускать на производства. Поэтому надо объяснить: те, кто пошел в школу до 1941 года, прервали учебу в связи с войной и восстановили ее осенью 1943 года. Но по разным причинам сразу после освобождения Славгорода за парту сели не все, большинство детей не посещало школу вплоть до окончания войны, пока не вернулись с фронта их отцы. Так было и в семье Столпаковых, где мать не могла подготовить к школе сразу трех детей: Сашу, Нину и Ивана. Так вот и получилось, что Нина окончила четыре класса до войны, а в пятый пошла в 1945 году. Через год, в июле 1946 года, ей исполнилось пятнадцать лет. В таком возрасте уже разрешалось работать.

Работа на кирпичном заводе — не из легких, все процессы выполнялись вручную. Сначала Нину, физически развитую девочку, определили на перевозку кирпича-сырца обычными тачками, фактически это была работа транспортировщика. Платили мало, так как особых знаний или навыков тут не требовалось. Потом девушка перешла работать садчицей, где нужны были сноровка, сила и выносливость: приходилось садить в горячую печь до 12–13 тысяч штук того же самого тяжелого кирпича-сырца в смену. Здесь она вкалывала на уровне с мужчинами, поэтому и получала большие деньги.

Бывало, вечером Нине хотелось побежать в клуб, остаться после кино на танцах, поболтать с девушками. Пока жива была мама, Нина иногда так и делала, очень редко.

— Иди, дитя, погуляй. Отдохни, — говорила мама, переживая за дочку, и та бежала к подругам.

За порогом дома отступали тяготы жизни, забывалась каторжная работа на заводе, улыбка сама ложилась на открытое лицо, жизнь звала и привлекала. Были и подруги. Даже ребята проявляли к ней внимание. Еще бы, такая красавица!

Но вот мамы не стало, и отец с каждым днем все больше хмурился — тяжело ему было принимать самоотверженную помощь от родного ребенка. Год траура Нина выдержала, не

обращая внимания на возражения или советі. Потом начала наведываться к подругам, забегать на танцы, в выходной — ходить в кино. Молодость брала свое. Снова не промедлили проявления мужского внимания, но едва она заикалась о том, что не бросит родительскую семью, как тех поклонников как ветром сдувало.

— Твое к тебе придет, — успокаивали подруги. — А за таким дерьмом не жалей.

— Судьба послала тебе тяжелое испытание, — говорили старшие знакомые. — Вот выдержишь его и придет настоящее счастье.

В тот весенний день 1953 года установилась хорошая погодка, солнечная. После недавних недостатков и голода дышалось свободнее, да и природа не скупилась на ласку, так что люди оживились. Уже не было ночных заморозков, круглые сутки стояла теплая пора. Из вспаханных под зиму огородов сходил снег, и они курились легким облаками испарений, под лесными полосами первая зелень поднимала сухостой и прошлогоднюю листву, шелестя ими. Полная луна выцарапалась в зенит как раз, когда потухли последние лучи солнца, и казалось, что на Славгород опустились белые ночи, о которых Нина читала в книгах. Она возвращалась с поля, где собирала корневые остатки прошлогодних подсолнухов. Шла в грязной одежде, с запыленным лицом, в истоптанных ботинках, с черными от земли ногами, сапку с вытертым до блеска черенком, которой выковыривала с земли корни, несла на плече. Мысли крутились вокруг завода, домашних хлопот, детей. Спешить было некуда, завтра выходной день, а она всю работу подогнала. Главное, с огородом управилась, подготовила к посадке. Даже свою часть заводского дома, в котором они занимали одну из угловых квартир, подмазала и побелила.

— Еще только март, холодно, — говорили ей соседи, видя, что она возится с глиной и известью. — Куда ты спешишь? Не дай Бог простудишься.

— А, — махала Нина рукой на те разговоры. — Спешу к весне.

Все же приятно ей было видеть, что люди заботятся о ней, жалеют ее. Грех жаловаться. Нина невольно улыбнулась.

И тут в размытом свете то ли сумрака, то ли лунного сияния увидела, что со стороны вокзала навстречу ей идет высокий, стройный парень, по всему — нездешний. Девушка невольно замедлила шаг, присмотрелась. Но скоро он повернул налево и нырнул в переулок. Только тогда заметила ленты, развевающиеся от его бескозырки. Моряк! Чей же это? Видно было, что он только

что приехал, так как шел с большим чемоданом.

Вечером в клуб не пошла, хоть и собиралась. Тщательнее обычного подщипала брови, выровняв их толстые крылья у висков, вымыла волосы, прополоскала отваром из мяты и ромашки. Неделю назад она начала шить новое платье, чтобы успеть закончить его к четвертому июля — дню своего рождения. А теперь ей захотелось иметь это платье уже завтра! Время есть — сегодняшний вечер и целый завтрашний день! Прикинула, что должны успеть.

После ужина достала из футляра старенькую швейную машинку, пошарила рукой по лежанке. Но кроя рядом не оказалось.

— А где мое шитье? — спросила у Оли, которая того и гляди, чтобы не испортила чего-нибудь, так как уже бралась и себе шить, а практиковаться предпочитала на Нининых вещах.

— Я не трогала! — откликнулась Оля. — Ты же его вчера приглаживала, возле утюга посмотри.

— Ой, как жаль! — Нина еще раз поискала на лежанке и действительно под кучей выстиранных вещей, ждущих утюжки, нашла свой крой. — А может, поможешь?

— Чем?

— Не успеваю к завтра швы обметать, воротник и рукава пришить. А еще надо хлястик сделать, приладить его сзади на поясе и бант изготовить — чтобы под воротником завязывать.

— Так делай бант и хлястик, а я на всех деталях швы обметаю.

— Правда? — обрадовалась Нина. — Неужели успеем?

— Конечно, тебе же останется только собрать все вместе! — заверила Оля, которая шила бы день и ночь, так любила портновское дело.

Платье пошить они успели.

* * *

Теперь Нина многое забыла, но то, что первая встреча с Юрой состоялась 13 марта 1953 года, — помнит. Это был второй Юрин отпуск.

Наверное, внимательный человек всегда предчувствует то, что готовит ему судьба. Иначе чем объяснить, что Нина не пошла в воскресенье в кино, не пошла и на танцы. Надела новое платье, приладила нехитрые украшения — нарядную шпильку в косы, под белый воротничок приколола брошь, а не бант, как хотела сначала, закрыла шов на талии блестящим металлическим

поясом, отбросив идею с хлястиком, обула выходные туфли, оставшиеся от мамы, с каблуком «яблочком», сверху набросила новое демисезонное пальто. Такая нарядная и стояла перед клубом под деревьями и смотрела на освещенную танцплощадку. Красивого моряка увидела сразу — он выделялся из толпы ростом и осанкой. Без какого-либо намерения думалось о нем. Она старалась припомнить, чей он, ведь по всему видно, что славгородец, но напрасно. Ведь многих ребят она просто не знала, так как не ходила в школу после окончания пятого класса в 1946 году. Даже ровесники, оканчивающие среднюю школу и учившиеся вплоть до 1951-го года, были ей практически не знакомы.

Моряк тем временем танцевал с Зиной Ивановской, увиваясь возле нее, впрочем, галантно и сдержанно. Вот кто ему подходит, эта красавица! Зина тоже была высокая и стройная, чернявая, с волнистыми волосами и с такой же открытой и искренней улыбкой, как и у этого парня. Казалось, что между ними замечается внешнее сходство. Ничего страшного — не зря говорят, что счастливые муж и жена должны быть похожими друг на друга. Но ведь она собирается замуж! Странно. Или это пустые разговоры, что Зина встречается с Николаем Тагановым, парнем из Ленинграда? Так ведь говорят даже больше того — что она помолвлена с ним…

Нина, не признаваясь себе, что расстроилась, уже хотела уйти домой, но музыка затихла, и музыканты ушли на перерыв. Пользуясь паузой, Зина взяла моряка за руку и спустилась с танцплощадки, подвела к девушкам, кучно стоявшим под деревьями парка, начала знакомить с ними. Все эти девушки были моложе Нины. Одна из них, Зоя Терещенко, работала в библиотеке. Ее муж был братом Нининой подруги Нади Терещенко. Другая — медсестра местной больницы, недавно приехала сюда из города, третья работала в колхозной конторе. Чуть в стороне своим тесным кругом стояли молоденькие воспитательницы детсада, недавно приехавшие в Славгород по направлению из Днепропетровского педучилища. Остальных Нина вообще не знала. Не совсем понимая, зачем Зина знакомит своего парня с целым сонмом красавиц, Нина сникла от того, что все они имели чистые, интеллигентные профессии, и только она — пролетариат, простая труженица, кирпичница, чернорабочая.

— А ты чего прячешься? — толкнул ее кто-то в спину, отвлекая от бесполезных грустных размышлений. В самом деле — какой смысл убиваться и нервничать, если уже поздно что-то менять?

— Смотрю, — Нина постаралась улыбнуться, узнав по голосу

свою подругу Аллу Пиклун, и оглянулась уже с просветленным лицом.

— Пошли туда! — сказала Алла, осматривая Нину, от которой исходили непонятная торжественность и загадочность. — О, да ты в новом наряде! Тогда тем более, — и потащила ее за собой.

Видно было, что Алле не терпелось потанцевать, но не с кем было зайти на танцплощадку. Заходить же без пары или без подруги и стоять там одной казалось неудобным, да девушки так и не делали.

— Пошли, — вяло согласилась Нина, посмотрев на Зину и моряка, которые к ней так и не дошли.

Возможно, так и лучше, — подумала Нина, — представляю, как бы мне было обидно, если бы меня не заметили и обошли стороной. А так я ушла… и нет причин для огорчений.

Через минуту вернулись музыканты и с новым энтузиазмом заиграли вальс. Нина и Алла ускорили шаг, почти бегом заскочили на танцплощадку, сразу же стали в круг и с разгона первыми поплыли в танце. Нина ничего не видела, отдалась ритму, вслушивалась в мелодию, подпевала, жадными губами ловила поднятые их движением вихры воздуха. Знакомые и незнакомые лица размазались по пространству, слились в сплошной круг глаз, рассматривающих танцующих девушек с завистью, перемешанной с любованием — танцевать вальс умели не все.

— Разрешите? — вдруг услышала Нина, автоматически перекладывая руки на плечи нового партнера.

Ах, как здорово, что это оказался тот самый неизвестный моряк! Он все-таки подошел к ней! Случись это под деревьями, где она стояла, не ведая, что принесет ей сегодняшний вечер, она бы сгорела от смущения. Но теперь был танец, этот вальс… Он как тонкая вуаль скрывал и ее скованность, и замешательство, и любопытство. С новым партнером Нина просто продолжала танцевать, ни больше ни меньше. Хотя — конечно! — с большей легкостью и воодушевлением завращалась и пошла по кругу площадки, буквально не касаясь земли.

Сильные руки подхватили ее и почти понесли по воздуху. Она старалась не думать, чьи они, чтобы не выдать себя, своих чувств, еще вчера возникших, едва она увидела эту стройность, этот рост, плавную походку, так знакомо склоненную набок голову. И улыбку! Прикрыв глаза ресницами, она не видела обращенный на нее восхищенный взгляд, лишь ощущала нездешний, приятный — о, как волнующий ее! — запах и догадывалась, что так должно пахнуть море. Ее тело отерпло от

сладкого замирания.

Молодое чувство, сильное, пылкое, беспрепятственное охватило их обоих. Нина и моряк еще и еще танцевали, не разлучаясь, не отпуская рук. Неизвестно куда подевалась Зина Ивановская и ее подруги, где притаилась или с кем танцевала Алла Пиклун, куда исчезли все остальные красавицы с мягкими нежными руками — на площадке были только он, она и музыка.

— Спокойнее, тут пройдем мягче, — говорил юноша, и Нина замедляла темп, тая от русского говора, от его глуховатого баритона, от этой волшебной музыки, слышимой только ею.

— Теперь в другую сторону, вот так — с прогибом, — и они вращались, изменяя направление, все больше и легче понимая друг друга, проникаясь сознанием общего действа, уже сплотившего их, слившего в одно целое, связавшего такой очевидной нерасторжимостью, что возникало недоумение: как они жили без этого раньше.

— Следующий танец тоже мой? — слышала она и сдержанно кивала головой, а сама при этом замирала, умирала от его голоса, чуть глуховатого, густого — желанного.

И чудилось ей в нем что-то давнее, утраченное, дорогое, но вот опять счастливо обретенное, и от счастья того обретения рождались грезы о счастье, неизведанные ею раньше. Сладкие грезы любви…

— Меня зовут Юра, — вдруг услышала она, а дальше и вообще чуть не упала: — Нина, ты не узнаешь меня? Я же Юра Артемов, мы с тобой вместе учились в школе.

— Да, — прошептала Нина. — Теперь конечно. Но сначала… эта форма. И потом — ты так вырос… — а сама не помнила его, только узнавала в неуловимых чертах, в жестах и пластике, в мимике, в чем-то с такой болью и так давно покинувшем ее, чему она не знала определения.

Юра подпевал мелодиям и так добросердечно, так улыбчиво, так великолепно-милостиво не замечал, что нравится ей. Делал вид, что не замечал. И надеялся, что нравится. Нина, как во сне, в сказке растворялась в его словах, в музыке их произнесения. Ничего больше не надо!

После танцев, гуляя до утра, они бродили оживающими окраинами Славгорода, еще такими жалкими и беспомощными в своей наготе, как только что вылупившийся птенец.

Да, это был юноша-мечта, юноша-совершенство, прекрасный и блестящий Юрий Алексеевич Артемов, старший матрос с линкора «Новороссийск» — флагмана Черноморского флота.

Часть 3. Прощание с юностью

Юрий, Юра, Юрочка…

Так и не вспомнилось Нине, что она вместе с ним начинала ходить в школу, в один класс. Но разве это важно? Четыре года они виделись ежедневно. Но между тем временем и этим, в котором встретились снова, лежали годы с неисчислимыми горестями, кровью и смертью — и все забылось! Война искалечила и укоротила их детство, зато удлинила взрослые пути и развела в разные стороны. В пору оккупации Нина оставалась в Славгороде, а Юру дедушка и бабушка Артемовы, родители его покойного отца, забирали в другое село.

После войны он на два года раньше Нины вернулся в школу и в 1946-м окончил семь классов. Как видим, у них совпал и последний школьный год, они снова учились в одних стенах, но теперь он был выпускником неполной средней школы, а она — какой-то там пятиклашкой.

Юра тоже вырос в дружной, многодетной семье, тоже — сирота. Его отец Алексей Васильевич Артемов умер в 1940 году от осложненного аппендицита, и мама, Вера Сергеевна (в девичестве Ивановская), осталась вдовой с четырьмя малыми сыновьями на руках: Юрием 1931 года рождения, Алексеем 1933 года рождения, Александром 1935 года рождения и Василием 1940 года рождения. Так вот, Юра был у нее самым старшим, опорой и надеждой.

После окончания семи классов он поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище) при Днепропетровском трубопрокатном заводе имени Карла Либкнехта. Здесь три года соединял учебу с работой, получил не только полное среднее образование, но и рабочую профессию — токарь 5-го разряда.

Работать начал в 1949 году, а через год, осенью 1950-го года, Юру призвали в армию. В военкомате сразу обратили внимание на его рост — 195 сантиметров. И при этом никакой диспропорции, удивительная гармония тела, приятные черты лица и идеальная пластика движений, хоть и немного скованная. Но это по молодости. Главное, что никакого зазнайства, никакой кичливости, словно юноша и не подозревает, что хорош собой, как бог. Просто драгоценный экземпляр.

— На флот пойдешь, красавец! Эх, такому молодцу в кино бы сниматься, — сказал председатель призывной комиссии, с восторгом оглядев юру, когда тот зашел с карточкой медицинского осмотра. — Но пока что погодим, да?

— Да уж, — улыбчиво смутился Юра, но хорошее настроение

человека, от которого зависела его судьба, обрадовало.

— Так вот, нам надлежит отобрать три человека на Черноморский флагман «Новороссийск», рост должен быть не ниже 175 сантиметров. Смекаешь?

— Да, — снова согласился Юра.

— Считай, мальчик, тебе повезло. Флагманцы — это гордость советского флота, его элита, — Юра покраснел, но все же нашелся: расправил плечи, поблагодарил за такие слова.

Новобранцам дали сутки, чтобы они могли проститься с родными, и Юра поехал в Славгород. Так бывает: готовишься к чему-то неотвратимому, а как придет оно, то растеряешься и ничего не сделаешь из запланированного и как планировал. Юрина бабушка, Мария Иосифовна Ивановская, услышав от внука новость, растерялась.

— Да как же это — всего сутки? — сказала: — И людей не соберешь, чтобы посидеть. На один день приехал. Что же я успею?

Была тепла влажная осень, вдоль дворов и на палисадниковых куртинах проросли осыпавшиеся семена, буйно и сочно зазеленели осенние травы, и не было разницы: цветы это или простой сорняк — цвет молодой яркой зелени навевал тихий оптимизм. Солнце все время пряталось за непрозрачной, но светлой завесой туч. Дни стояли задумчиво-пасмурные, безветренные и теплые.

Приготовив простой ужин вместо званых проводов, за стол сели под вечер, когда люди вернулись с работы. Приглашать, чтобы быстро собраться и подольше посидеть, было почти некого: Юрины ровесники разъехались по городам на учебу, девушки повыскакивали замуж, другие были заняты молодыми семьями и не смогли прийти. Собрались родственным кругом. Сидели, говорили. За столом преобладали женщины, если не считать младших Юриных братьев, еще мальчишек.

— Кто же тебя в дорогу благословит? — заплакала бабушка, вспомнив свое вдовство, Юрино сиротство без отца.

— А вы и благословите, — улыбнулся Юра.

— Э-э, сынок, — объяснила Мария Иосифовна. — На серьезные дела нужно мужское напутствие, и чтобы было оно не лукавое, а искреннее.

— Завтра по дороге на вокзал зайду к дедушке Илье. Он и благословит.

— Правда! А ты говоришь! — толкнула бабушка узловатым пальцем Зину. — Молодые, они лучше нас соображают, — и ее глаза молодо засветились гордостью за внука. — Эх, жаль, мать тебя не видит. Как бы она порадовалась сейчас!

Бабушка неосмотрительно затронула то, что больше всего

болело Юре не один год. Юноша вдруг помрачнел, вздохнул, сверкнул глазами вокруг, будто не то видел, что хотел бы. Его мамы, Веры Сергеевны, давно уже не было дома — отбывала наказание за человеческую подлость, за надругательство над ней, вдовой. Юра отогнал кучу призраков из пережитых бессилий переиначить то, что случилось. Всплыл из прошлого, ибо не полагалось отправляться в неизведанный путь с тяжелым сердцем. Остановился мысленно на Вернигоре Илье Григорьевиче.

Илья Григорьевич Вернигора был бабушкиным другом детства, они вместе росли, бегали по улице малышами, так как жили рядом. Сколько помнил Юра, дедушка Илья опекал Марию Иосифовну, рано оставшуюся фактически один на один с жизнью, поскольку ее муж Сергей еще смолоду сильно болел. В 1933 году Илья Григорьевич спас их от голодной смерти, и с того времени совсем стал как родной человек. Но через пять лет этот проклятый голод аукнулся Юриной бабушке с другой стороны — от постоянного недоедания дедушка Сергей, ослабевший здоровьем, заболел туберкулезом, долго болел. Бабушка как могла сражалась с его болезнью, но скоро ей стало ясно, что на выздоровление надежды нет. В 1938 году дедушка Сергей умер. С того времени Илья Григорьевич не оставлял Марию Иосифовну, выказывал дружескую заботу о ней, не забывал также ее детей и внуков. Да чего правду скрывать — если бы не он, то и 1947 год неизвестно как пережили бы.

Уже и звезды погасли, а женщины сидели в темноте, говорили. Рассказывали Юре о том, как прожили жизни, вспоминали добрых и злых людей. Юноша слушал взрослых, как очарованный: гости, которых он знал с детства как обычных дедушек и бабушек, теток и дядьев, впервые говорили с ним, как с ровней. Они вставали теперь перед ним в свете своих воспоминаний почти героями: такие тяжелые времена пережили, такие испытания одолели! Вот и он должен быть отважным и уверенным в себе, должен быть на высоте.

Юра снова вспомнил Илью Григорьевича, единственного близкого мужчину, которого он знал с детства, единственного советника и защитника. Хотя и не все беды в его власти и силе отвести, но он искренне предан их семье.

СЛАВГОРОДСКИЕ СПАСАТЕЛИ: Илья Вернигора

Родился Илья Григорьевич Вернигора, в соответствии со своим именем, на Илью — 2 августа 1889 года. Кстати, он поддерживал дружеские отношения со всеми сверстниками из

славгородских старожилов, в частности, с моей бабушкой Сашей, папиной матерью. Она была годом старше его, кроме того, до революции работали у того же помещика, что и он: была там портнихой.

Правда, позже я узнала, что Илья Григорьевич был гораздо ближе маминым родителям, но об этом я расскажу дальше.

Так вот в Славгороде его издавна многие хорошо помнят и передают эту память своим потомкам. Илье Григорьевичу повезло: сызмала он что называется попал в хорошие руки, удостоился служить у самого крупного славгородского землевладельца Валериана Семеновича Миргородского, непростого человека, приметного в истории Российской империи. Не знаю, с каких должностей он там начинал, но в последние десятилетия был ключником, иначе говоря, кладовщиком и экономом. И это о многом говорит.

Сам Валериан Семенович в 1905–1909 годах был предводителем дворянства Александровского уезда Екатеринославской губернии, куда относился и Славгород, коллежским асессором. Затем, в 1911–1917 годах — надворным советником, на 1917-й год — вторично коллежским советником. Естественно, у при нем можно было многое увидеть, узнать и многому научиться.

В частности, патриотизму и бережному отношению к людям. Валериан Семенович был из преданных своей Отчизне людей, и после революции не бежал за границу, а собирался жить, где жил, в толще своего народа, для которого он немало сделал, — в Славгороде. Но судьба оказалась к нему немилостивой — его семью вырезал, а усадьбу разграбил и сжег гуляйпольский душегуб Нестор Махно. Эта история составляет сюжетную основу фильма «Свадьба в Малиновке», написанного Леонидом Ароновичем Юхвидом. Леонид Аронович знал материал не понаслышке. Он писал о своих подростковых впечатлениях, ибо волею провидения явился самоличным свидетелем описанных событий — как родившийся и выросший в Гуляйполе, родном городе Махно. От Славгорода это всего в нескольких километрах, не удивительно, что многие наши земляки были в числе гуляйпольских бандитов.

Говоря дальше об Илье Григорьевиче, я хочу подчеркнуть еще раз, что, фактически являясь правой рукой Валериана Семеновича по управлению имением, он не мог не проникнуться его настроениями, идеями, его отношением к своим обязанностям перед людьми и к своему долгу перед Российской империей. Пусть не прозвучит это пафосно, но говорить о государственных людях следует в официальных терминах. А уж предводители

дворянства умели потребовать от подчиненных лиц того, что считали правильным, умели их воспитать в своем духе.

Каким был дух господина Миргородского уже известно — самым гуманным и благочинным, за что он заплатил головой. Так вот все сказанное о Валериане Семеновиче косвенно характеризует и Илью Григорьевича.

Позже, с момента создания колхозов и вплоть до глубокой старости Илья Григорьевич работал колхозным кладовщиком, сохранял коллективный урожай, а главное — посевной фонд зерна. Храня верность усвоенным смолоду принципам, в тяжелые годы рисковал, хорошо осознавая это, но не оставлял людей в беде. Словно мимоходом и не специально являлся к страдающим от нищеты и, видя такое дело, по зернышку, по зернышку вынимал из карманов и отдавал им одну-две горсти пшеницы, якобы чудом там оказавшейся. А когда видел пухлых от голода, то научал выходу из этого состояния, наведывался к ним чаще, опять приносил какие-то «выгребки» зерна. Короче, не давал умереть.

— Разотри зерно в муку и свари похлебку, — говорил хозяйке или хозяину. — И ешьте понемногу, а лучше чаще.

— Что есть, когда ничего нет…

— Пока ешьте это, а там Бог даст не пропасть, — с этим уходил, впрочем, через несколько дней появлялся снова — такой же озабоченный, чуточку рассеянный, пробегающий мимо.

Где он брал то зерно, что раздавал голодающим? Этот вопрос сразу не возникал, ведь каждый старался помалкивать, что «бог послал ему кусочек сыра». А если кто-то из получающих помощь спустя время, когда трудности оставались позади, и задавался им, то лишь риторически, чтобы еще раз поблагодарить судьбу за то, что выжил.

Этот простой и незаметный подвиг дедушки Вернигоры спас многих жителей села от вымирания. И такое случалось не раз. Ведь в нашей общей истории был не только 33-й год — хоть и голодный, но случившийся после благополучных сытых лет, от которых все же хоть что-то у людей оставалось. А вот в 47-м году, послевоенном, когда ударил голод, у людей ничего не оказалось — не успели нажить после разрухи. И ко всему — тотальный страх, постоянные доносы, преследования, аресты.

— Как же ему удавалось сводить концы с концами в отчетах о зерне? — спросил в тот вечер Юра Артемов у своей бабушки, слушая ее рассказы.

И бабушка рассказала, что Илье Григорьевичу зерно для голодающих поставлял главный агроном колхоза Яков Алексеевич Бараненко. Понятное дело, что Юра мне этого

поведать не мог, мне этот разговор передала Юрина тетка Зина, бывшая его свидетелем. Так впервые я услышала из первых уст правду о тихом подвиге моего дедушки.

Яков Алексеевич Бараненко невольно стал сподвижником первых начинателей укрепления сельского хозяйства в Славгороде. От самого образования СОЗов (союзов по совместной обработки земли), затем возникновения колхоза им. Фрунзе и до войны Яков Алексеевич работал здесь главным агрономом. И в силу этой должности нес непосредственную ответственность за уровень урожайности посевов и за сохранение зерна во время жатвы.

Именно его первого должна была не устраивать «спасательная деятельность» колхозного кладовщика, — подумала я, слушая Зинаиду Сергеевну. Правда, во время войны дедушка Яков погиб, не дожил до 47-го страшного года. Но до войны, в 33-м голодном году он был, он работал. Так как складывались его отношения с кладовщиком Вернигорой?

Вокруг фигуры дедушки Якова в нашей семье постоянно стояла аура недосказанности, тайны, запрета на упоминание. Первое время я это приписывала тому, что он погиб мученической смертью и просто маму нельзя травмировать этими тяжелыми воспоминаниями. Потом стала замечать, что о бабушке, которую постигла та же участь, мама говорила более раскованно и охотно. Это озадачивало. Однако я не могла напролом нарушать табу.

А тут состоялся разговор с Зинаидой Сергеевной, при котором присутствовала и мама! Спустя время после этого разговора я отважилась спросить у нее, как дедушка Яков относился к Илье Григорьевичу. Вопрос опять вызвал волнение, она побледнела и некоторое время тянула с ответом, потом сказала, взвешивая каждое слово:

— Доверял ему, любил и… помогал.

— А за что он его любил? В чем помогал? Мама, дело прошлое, — напомнила я.

Захваченная такой неожиданной любознательностью, моя мама долго подыскивала слова.

— За… храбрость, человечность.

— Это туманный ответ. Скажи честно, твой отец… Он тоже рисковал?

— Конечно. Почему вдруг ты этим интересуешься?

— А прослушала еще раз диктофонную запись беседы с Зинаидой Сергеевной Иваницкой о Юре Артемове, где она вспоминает Илью Григорьевича и твоего отца. Помнишь?

— Конечно, помню.

— И подумалось мне… где этот Илья Григорьевич столько зерна брал, чтобы не день-два и не в один двор носить его по паре завалявшихся в карманах горстей. Как раз в связи с этим Зина твоего отца и вспоминала.

— Ну да, — согласилась мама. — Знаешь, одна голова — хорошо, а две — лучше, — опять туманно ответила она.

— Ты хочешь сказать, что твой отец был заодно с Ильей Григорьевичем?

— Нет, он людям зерно не носил! — испугано замахала она руками.

— А что тогда? Что именно вдвоем было делать лучше?

— Знал он все, — и после паузы прибавила: — Вместе они действовали.

Дальше мама преодолела свой застарелый страх, поняла, что правда теперь никому не повредит, что среди живых уже давно нет героев тех историй, и осмелела.

— Отец рассказал мне об этом сам, когда я помогла ему бежать из немецкого плена. Вроде исповеди это было, — мама заплакала, погрузившись в необъятное пространство воспоминаний. — Как он благодарил меня за спасение! Как благодарил! Бывало, встанет утром, подойдет ко мне, еще спящей, и гладит по спине, целует через одеяло, тихо шепчет: «Спасительница моя дорогая, доченька золотая…». — Она вытерла глаза платком и продолжила: — Долго мы тогда шли домой, обессиленные от голода и измученные страхом, уставшие… Думали, не дойдем. Отец был в тяжелом состоянии и не надеялся выжить. Вот тогда и рассказал мне все. Он, конечно, хотел, чтобы о его храбрости и самоотверженности и люди знали, и потомки. Но очень боялся плохих людей. Поэтому просил, чтобы я сохранила его рассказ в тайне и только в лучшие времена передала своим детям.

— А ты молчала, — с укором сказала я. — Мне пришлось самой у тебя выпытывать.

— Кому оно теперь надо? — мама махнула она рукой по привычке.

— Надо, как видишь. Героизм не прекращается, он тоже передается по наследству, — сказала я с улыбкой. — Расскажи все подробно, пожалуйста.

И мама начала она свой рассказ…

Тогда хлеб свозили на ток телегами с высокими бортами, бричками их называли. Ими же потом зерно и дальше везли: с тока на пункты хлебосдачи, ну и семенной фонд завозили в амбар на хранение.

Брички, направлявшиеся на перевозку урожая, всегда

принимал Яков Алексеевич, осуществлял, как тогда называлось, приемный контроль. В силу должности он отвечал за их герметичность, прочность, чтобы нигде не было неисправностей. Поэтому, когда они прибывали, осматривал их тщательно, особенно проверял состояние короба, качество закрепления досок. Не делал он только одного — не выстилал коробы брезентом, предпочитал, наоборот, укрывать им груженные телеги сверху. А в коробе обязательно где-то случалась щель, из которой зерно естественным порядком просыпалось на тряских дорогах. Просыпавшееся зерно в пылище не обнаруживалось, оно тонуло в ней.

Но Илья Григорьевич считал, что оно там есть, должно быть. И… нет-нет да и пойдет подметать дороги, просеивать пыль. Маленький, плюгавенький, гребется себе, никому не мешает, что-то собирает, что-то несет в комору[3]… Ведь много чудаков было, как и всегда случается в тяжелые времена. Кто-то богу молился, другой странствовал с котомкой, третий побирался. Вот и Илья Григорьевич… тоже вроде чудачествовал. Ни свет ни заря бывало идет по дороге, согнувшись, в руках метла с короткой ручкой, совочек, ведро… Что-то подметает, что-то собирает…

Никому это не мешало. Была ли от этого польза, удовлетворялась ли какая-то надобность, или делалось для отвода глаз — теперь можно только гадать.

Илья Григорьевич Вернигора на пороге своей кладовой и на разгрузке зерна (на телеге)

Люди привыкли к нему, не обращали внимания. Они всегда считали его чудаковатым стариком, таким, что по-хорошему себе на уме. А он и не возражал, поддерживал этот имидж. Теперь это даже смешным кажется, а тогда… Тогда выручало.

— А я догадывалась, что в этом есть иной смысл, — мама задумалась, словно снова всматривалась в те страдные дни, в те дороги, в те образы. Я боялась сбить ее с волны и молчала. А сама себе думала, что вряд ли собранного на дорогах зерна хватило бы на всех, кому Илья Григорьевич помогал. Много надо было его иметь, чтобы хоть немного поддержать голодающих. — Тайный, — неожиданно продолжила мама, что я аж вздрогнула. — Большая уже была, ведь в 33-м году мне исполнилось тринадцать лет. Все как сейчас вижу.

— Да, тринадцать лет — это уже отрочество, — произнесла я.

— А когда отец рассказал мне… — вдруг опять заговорила мама. — Оказалось, что на самом деле от него зерно шло в руки Ильи Григорьевича. Вот так, — закончила она свою печальную исповедь о «грехах» своего отца.

Помолчав с минутку, она вздохнула и продолжала, чего я уже и не ожидала.

Когда случалось, что речь заходила об арестах, Яков Алексеевич только ус крутил да по сторонам посматривал. Зерно, предназначенное для помощи людям, он, оказывается, прятал в

скирдах, необмолоченным. С ранней весны и до поздней осени дома не ночевал, спал там — стерег свои клады, чтобы случайный человек не наткнулся на них ненароком. А дома объяснял ночевки в поле тем, что, дескать, прятался от энкэвэдистов.

На улице Степной, где он жил, в самом деле, многих забрали. Оснований для тех арестов хватало — это я намекаю на участие людей в махновской банде, которых впоследствии, конечно, всех пересадили за грабежи и убийства.

Но люди тогда плохо понимали — кто кого садит и за что. Немногие разбирались в происходящем.

Взять, например, Габбаля, соседа Якова Алексеевича. Во-первых, он был иностранного подданства, поляком, а во-вторых, когда-то на царской каторге сидел, Троцкого расхваливал — ну явно птица непростого полета. Таких чужаков-пришельцев в Славгороде было немало. Злодеи, подрывающие власть изнутри, всегда прятались по окраинам, в массе простого народа, прикидывались простачками, незаслуженно пострадавшими. Вот когда их пересадили, сразу прекратились убийства по посадкам, кражи в окраинных домах, поджоги, падежи скота. А то ведь в темное время до вокзала пройти было нельзя: что ни день, то кого-то там зарезали.

А почти все преследуемые тогдашней властью славгородцы — в прошлом были махновцами, о них, бандитах, и объяснять ничего.

Аресты большей частью происходили ночью. Вот Яков Алексеевич и говорил, что пока он на работе, среди людей, его не тронут, а на ночь лучше спрятаться. Это очень походило на правду, и домашние верили ему. Ничего другого о тех скирдах не подозревали.

— Да, помню, — сказала я, — ты упоминала о скирдах в телефильме «Я к ногам преклонил бы вам небо». Но сказала только, что твой отец почему-то ночевал в скирдах, и больше ничего не уточнила. Почему тогда промолчала?

— Боялась. Да и не хотела, чтобы люди болтовню разводили… У нас сейчас модно разные тайны открывать, накрутили бы такого…

— Надо, чтобы односельчане знали, как много добра для них сделали твои родители. Тем более, они умерли такой злой смертью, что не приведи Господи… И что бы стали болтать? О дедушке Вернигоре все говорят только с уважением и признательностью.

— Так ведь он, по всему получается, ничего не нарушал, жил открыто. А отец часть урожая от государства утаивал… Это совсем по-другому называется

— Так не для себя же! Вы что, продавали зерно или в роскоши купались?

— Нет, конечно! Нас не в чем упрекнуть, мы сами голодали. Но отец очень боялся разговоров.

Наверное, настоящее добро, спасающее мир, таким и должны быть — незаметным, скромным, обыденным, вовсе не героическим. Открытие о дедушке поразило меня больше всего в мамином рассказе. И я думаю, пусть о нем никто не догадывался, так как он не «светился» на людях, но ведь Илья Григорьевич как раз не прятался! Не могло быть, чтобы те проделки колхозного кладовщика не бросились в глаза тому, кто от голода не пух, — злому человеку, стукачу. Дед Вернигора действовал, конечно, осторожно, но к чрезмерной конспирации не прибегал. Он шел с ведерком по дорогам, вроде подбирал пыль, а на самом деле заходил за оставленным ему дедушкой зерном, прятал его в ту пыль и нес в комору…

Скорее всего, догадывались, видели, возможно, что-то обнаруживали при переучетах в кладовой. Но не выдали. Редко такое происходит, но тут именно тот случай.

* * *

У Жени Вернигоры, внука Ильи Григорьевича, приятная открытая улыбка, спокойные глаза, мягкий взгляд, он его не отводит от собеседника, — все черты человека с чистой совестью, умного, порядочного и доброго. Знала его когда-то совсем ребенком, а теперь Евгений — примерный семьянин, уже внучку имеет, опытный специалист.

— На сколько ты младше меня? — интересуюсь я.

— На два года, — смеется он и спрашивает: — Разве вы не помните, каким я в школе был шалуном?

— Немного помню… Младших плохо помнят.

— Ну да. Как без шалостей вырасти? Мальчишка, что вы хотите…

— Ты знал правду о своем дедушке? — возвращаюсь к основной теме разговора, ради которого мы собрались у мамы.

— Кое-что слышал, но в тонкости не вникал.

Я пишу для тебя, Женя, самые полные свидетельства о добрых делах твоего дедушки. Бери, пусть живет этот рассказ в твоих детях и внуках, и пусть идет дальше в люди прекрасной легендой о славгородских спасателях, людях земли нашей родной.

В селе еще есть люди, которые дедушке Илье обязаны

спасенными жизнями, и их потомки есть. Думаю, не только Юре Артемову и мне об Илье Григорьевиче рассказывали наши родные. Вспоминают его и в других спасенных им семьях. Бог дал ему долгую жизнь — 90 лет он прожил на земле и ушел от нас 4 октября 1979 года.

СЛАВГОРОДСКИЕ СПАСАТЕЛИ: Яков Бараненко

Присутствовал при наших разговорах с мамой, Зинаидой Сергеевной, Евгением Вернигорой также и Сидоренко Николай Николаевич. На правах одного из главных героев познакомился с рукописью этой книги, кое-что изменил в ней, кое-что прибавил. Именно тогда и рассказал о доносе своего соседа — деда Митьки, Бема — на его мать, о чем просил меня непременно дописать. Все равно эти люди всю жизнь прожили рядом, по соседству, и глаза друг другу не выцарапали, но пусть другие знают, кто чего стоит, — сказал он.

— Мама, ты рассказывала, что твои родители дружили с тем Бемом, который тетку Анну чуть за просо не посадил, — сказала я, обращаясь к маме, которая искренне угощала гостей пирогами и яблоками. — Как же он дедушку Яшу не выдал за пшеницу в скирдах, ведь, наверное, догадывался об этом, тринадцатая его душа?

— Эх-хе-хе… — вздохнула мама и как-то строго, со значением взглянула на присутствующих. — Нехорошо, конечно, получилось. Но все так сложно переплетено, что и не распутаешь с кондачка. Дед Дмитрий с Анной Александровной, теткой Нюрой, как ее называют, тоже дружил. Думаю, что со страху он тогда донес на нее, — последние слова она адресовала Николаю Николаевичу.

— И что его напугало? — с недоверием спросил тот.

— Может, то, что стал свидетелем кражи. Ведь за сокрытие преступления тогда тоже закрывали за решеткой. А ему и кроме этого хватало причин для страха. Он был политизированным человеком, иногда распускал язык, критиковал Сталина, противопоставляя ему других вождей. Ведь мог же он при этом допустить, что тетку Анну подговорили устроить ему провокацию, проверить его на лояльность?

— Как это? — вскинулся Николай Николаевич.

— Ну допустим, он подумал, что тот же участковый милиционер Люблинский или местный представитель НКВД попросил ее специально показаться на глаза языкатому соседу с якобы украденным просом. А потом наблюдали, что он сделает.

— Да нет! — воскликнул Николай Николаевич. — Мать по-

настоящему украла просо. Вот интересно, — засмеялся он, — что бы они сделали, если бы она успела его сварить и мы бы его съели?

Присутствующие тоже засмеялись, но как-то сдержанно — тень того строгого времени, о котором говорилось, словно нависла над нами, и мы ощущали ее холодное и опасное дыхание.

— Решили бы, что ваш дед Митька брехун, — сказал Женя. — Вот за это он точно получил бы! Я, например, знаю, что очернителей и разных врагов советского человека тоже не жаловали. Не зря же и Ежова и Ягоду к стенке поставили.

— Но это ты знал, что она по-настоящему украла, — сказала мама, не воспринимая веселости в этом вопросе, — она знала, что украла. А Бем не знал. Он о своем думал — о том, что болтает много и когда-нибудь получит за это срок.

— Ну, не посадили же Топоркову! — не соглашался с мамиными предположениями Николай Николаевич. — Она тоже политизированной была.

— Топоркова имела ум в голове, была лояльна к власти, никому не вредила, никого не разоблачала, а работала на совесть. Таких здесь не трогали. А после войны ее спасла эвакуация. А этот, — мама показала рукой в сторону, где до сих пор стоит развалленная хата Бема, — мало что язык распускал, так еще и на оккупированной территории находился. И вдруг, на тебе, — покрывает воровку. Чем не повод для ареста?

— Это после войны он такой боязливый стал, когда под немцами побывал. А до войны? — не сдавался Николай Николаевич. — Он всегда был ненадежным…

— До войны его чуть не хапнули за длинный язык, — тут уже и мама засмеялась. — Тогда вмешался мой отец. Нескромно так говорить, но это правда. Яков Алексеевич членом партии не был, но знал влиятельных людей, которым сады разбивал. Те уважали его за знание своей профессии, за трудолюбие, вот он перед ними и поручился за дядю Митьку, спас дурака. Поэтому отец его и не боялся, — повернувшись ко мне, ответила мама на мой вопрос. — Он был уверен, что Бем его не выдаст.

— Жаль, что Яков Алексеевич так мало прожил, — сказал Николай Николаевич и посмотрел на маму, словно в чем-то был виноват: — Он был для меня, как родной. Сколько он успел добра сделать! Приучил меня к пчеловодству, выстроил дом, который позже нам продал. Возвел еще один дом, где теперь тетка Варька живет, выкопал колхозный ставок и зарыбил его, сады кругом посадил. Ветряную мельницу, я сам это помню, за селом поставил. А главное — людей от голода спасал.

— Ваш отец был здесь первым колхозным агрономом? —

спросил Женя у Прасковьи Яковлевны.

— Да, ему исполнился тридцать один год, когда в 1928 году здесь основали СОЗ, общество по совместной обработке земли, — разъяснила мама. — В нем объединились двадцать восемь семей со своим тяглом и инвентарем. И отца пригласили туда заниматься агрономией, ведь его хорошо знали как опытного специалиста и талантливого организатора. Сначала он членом общества не был, оставался единоличником, но работу, возложенную на него, выполнял, добросовестно работал у них по найму. Помню, что с ним расплачивались натурой: привозили нам зерно, семечки подсолнечника, кукурузу, свеклу.

— А чем вы жили в течение года?

— Держали хозяйство. Были у нас свои кони, скот, свиньи, птица разная. Землю возделывали на огородах, пасеку имели. Отец очень пчел любил.

— Говорю же вам, это у меня от него! — заметил Николай Николаевич, показывая на вазу меда, что стояла на столе. — Я же у его учился пчеловодческой премудрости.

— Через год это общество превратилось в артель, а в 1930-м году стало колхозом, — продолжала мама рассказывать о Якове Алексеевиче. — Это уже было начало коллективизации. Тогда и мои родители со слезами подали заявление, отвели туда лошадей, скот… Не хотели, но под принуждением пришлось. А что им оставалось делать? В противном случае отец рисковал остаться не только без работы, но и без средств к существованию. Экономика страны менялась коренным образом и надолго, это было очевидно.

— И что, так молча взял и отдал свое? — удивился Евгений Вернигора.

— О! — снова вмешался в разговор Николай Николаевич. — Я знаю, что бабушка Евлампия крутого нрава была, не могла она легко сдаться. Не верю!

— Не легко, конечно. Никто так не говорит.

И мама рассказала, как было на самом деле.

А было так. Первыми в колхоз записались члены комитета бедноты. По дошедшим до нас свидетельствам, это были, в основном, неимущие люди, нищие, лентяи, бездельники, низкий элемент. Именно они грабили брошенные господские дворы, дома и имущество тех, кого вывозили в Сибирь на поселение. А также действовали как наводчики — указывали на крепких хозяев, с которыми надо покончить. Плохую память они оставили по себе у людей. Не всему я хотела бы верить, но таковы живые подтверждения.

Одна из таких комбедовцев — Соломия Стрельник — откуда-

то приперла домой огромное зеркало и временно оставила в сарае, где стояла коза. На рассвете слышит, что та блеет, чуть не разрывается. Прибежала в сарай и видит — вся коза окровавлена, мечется по углам, натыкаясь на предметы. Оказывается, животное, испугавшись своего отражения в зеркале, оторвалось с привязи и принялось бодать зеркало рогами. Стекло разбилось, и осколками повредило козе глаза, бедное животное ослепло. Пришлось дорезать. Соломия чуть умом не тронулась.

Вместе с голытьбой колхозниками стали безлошадные. Это те, у кого не было тягловой силы — коней и волов. Дальше начали загонять в артель и середняков, зажиточных крестьян.

Дошла очередь и до Бараненко Якова Алексеевича. Его вызвали в сельсовет и предложили сдать тягло, а также написать заявление о вступлении в колхоз. Все равно, дескать, он работает там по договору, вот теперь и будет полноправным членом коллектива. Так как он был человеком мягким, сговорчивым, то может, и согласился бы, но его жена Евлампия Пантелеевна воспротивилась, настроилась категорически против перемен. А она не только имела крутой характер, но и влияние на мужа. Видя это, он, конечно, отказался. Тогда несговорчивого человека закрыли в местной кутузке и пообещали, что не выпустят, пока он не оставит свои заблуждения и не согласится с поступившим предложением.

— Ты что, сам себе враг? — говорили ему. — Ты еще нас поблагодаришь, что мы спасли тебя от неприятностей. Знаешь, что ждет богачей?

Яков Алексеевич колебался. Единоличнику, выросшему в обеспеченной среде, ему претило объединение с бедняками. Не устраивала сама перспектива — брать на свои плечи их судьбу! Это же значило — разделять ее? Но ведь это очень страшно, человеку не свойственно стремиться к худшему!

Как и все люди его положения, он в бедах голодных винил самих голодных, не учитывая того, как легко впасть в нищету и как потом невозможно из нее выбраться.

Слушая свидетелей тех событий, порой кажется, что, описывая в негативном свете бедняков, ставших первыми колхозниками, эти свидетели на самом деле не к беднякам имели претензии, а панически боялись попасть в их положение. И все их показания, их мнение надо относить не к беднякам, а к ситуациям, в которых те находились. Это было как заклинание — заклеймить осуждением того, кто попал в беду, означало самому откреститься от беды.

Не очень разбирающийся в политике, а тем более в психологии, но сметливый, Яков Алексеевич интуитивно понимал

это, осознавал, что улучшить свое положение люди могут только сообща, коллективно. Ведь не зря в народе говорят, что гуртом и батьку легче бить! Понимал, что в стране бедняков больше чем богатых, и что государство делает ставку на это большинство, на удовлетворение его нужд. И этому надо способствовать.

Да, потом будет всем лучше. Но ведь это потом, а решать и совершать поступок надо сейчас! И как сейчас тяжело отказываться от того, что нажито с надрывом живота — в лишениях, в экономии на куске хлеба, на паре сапог, на лишнем платье для жены!

Евлампия Пантелеевна долго стояла на своем, подбадривала мужа, наставляла, чтобы он не сдавался и не падал духом, носила еду. Яков Алексеевич держался сколько мог, но скоро увидел, что такое противостояние может продолжаться как угодно долго: к нему перестали допускать жену, а также запретили носить передачи. Отныне он давал знать о себе стуком в стену.

Упершегося на своем, его удерживали без еды, били, издевались, продолжая уговаривать повернуться лицом к переменам в стране… Измученный голодом и холодом, изможденный, напуганный непониманием происходящего, он потерял надежду выйти на волю живым и перестал подавать знаки о себе. И жена его поняла, что теряет мужа. Некоторое время она еще продолжала сопротивление — проклинала колхозы и колхозников, а потом сдалась.

Когда Яков Алексеевич вернулся домой, двор уже был пустой. В отместку за нерешительность у него забрали не только коней и корову, но свиней и ульи. Даже гусей, кур — и тех переловили. Тогда впервые в жизни он заплакал.

* * *

Колхозное стадо выпасали около Кирпичного ставка. Там была влажная и довольно просторная низина с ключами, а чуть выше вдоль речки Осокоровки тянулись роскошные луга, полные целинных трав. Дней через десять, чуть отойдя от потери всего нажитого, Евлампия Пантелеевна затужила по своей Зирочке, любимой коровке, домашней кормилице.

— Не вздумай, Лампия, выкинуть фокус, — просил Яков Алексеевич жену, видя ее настроения. — Ты еще не знаешь, на что они способны. Радуйся, что мы сами живы-здоровы, а Зирочка пусть им остается.

Более упрямой женщины, чем жена агронома, в Славгороде не было. Тоскливо ей, значит она не отказывает себе в слезах,

хочется чего-то — делает.

— Пошли, дочка, до ставка. Хоть посмотрим на нее. Как она там? — сказала она моей будущей маме.

Прасковья Яковлевна была уже подростком, хорошей работницей, помощницей в хозяйстве.

— Пошли, — поддержала свою маму.

Дело было под вечер. По небу плыли неторопливые одинокие тучи, подсвеченные садящимся розовым солнцем. Разморенные жарой коровы ради порядка пощипывали траву, тяжело колыхая полным выменем. Зирочку увидели сразу. Она паслась в стороне — тосковала, бедная, к новому стаду еще не привыкла.

— Зира, Зира, — тихо позвала Прасковья из-за шиповникового куста, что рос на холме.

Корова подняла голову, на миг замерла, а потом быстро побежала туда, где ниже по склону холма, почти у самой речки, стояла ее хозяйка. Остановилась, ткнулась носом в плечо.

— Тише, тише, — прошептала Евлампия Пантелеевна. — Пошла, — и тронула свою любимцу искусно украшенным кнутом, какие любил изготавливать на досуге Яков Алексеевич.

Вдвоем с дочкой они выгнали корову на дорогую и повели домой. Добираться им было на противоположный конец села, где-то километра полтора. Незаметно не пройдешь, да еще в пору, когда люди идут с работы. Но один увидит и промолчит, а другой…

Короче, мир не без добрых людей… ну и наоборот. Увидел их Алексей Михайлович Иванов, местный комсомолец, известный в селе приверженец новой власти и новых перемен.

— Назад! — закричал он, подбежал и чуть не вскочил верхом на корову, стараясь ухватить ее за рога, чтобы вернуть в колхозное стадо.

Евлампия Пантелеевна размахнулась и полоснула активиста кнутом. Потом еще раз, еще раз.

— Отойди, паскуда, забью до смерти, мне все равно! — кричала она, стараясь отогнать комсомольца от себя.

— Кулаки грабят! Держи их! — вопил тот, хватаясь то за кнут, то за руки Евлампии Пантелеевны, но никто к нему на помощь не пришел.

— Гони, Паша, сама, — решительно сказала дочке Евлампия Пантелеевна, высвобождаясь из захватов Алексея Иванова, продолжающего попытки заломить ей руки и отобрать кнут, — а я проучу этого паразита.

Она вошла в раж и хлестала напавшего на нее мужика без сожаления, не сдерживая руки, пока тот не упал. Убедившись, что наглец живой, только притворился и замер, чтобы его не били,

она еще отвесила ему с десяток ударов, а потом плюнула сверху и пошла вслед за дочкой.

Евлампия Пантелеевна Бараненко, моя бабушка

Пригнали Зирочку домой без дальнейших приключений. Евлампия Пантелеевна вымыла ей вымя, вынесла низенький

табурет, чистое ведро и села доить. Сюда-туда дергает за дойки, а молока нет. Да что такое? Она помяла их, помассировала. Нет, не помогает. Испугалась Зирка того приверженца колхозного строя, который хотел оседлать ее, и от стресса у нее пропало желание отдавать молоко.

— Беги быстро за огород и насобирай мяты, — попросила младшего сына Петруся. — А ты, дочка, ставь воду на огонь, запарим зелье для Зирки.

Напоили корову теплым отваром из мяты, успокоили и спустя два часа сдоили. Роскошествовала в последний раз Зирка дома несколько дней, но все равно пришлось отвести ее назад — Якова Алексеевича о том вежливо попросили, мягко намекая на недавно обжитую им местную холодную и на Сибирь.

После того как забрали у людей живность, распоясавшиеся бедняки взялись за продуктовые припасы — выгребали зерно и семена подсолнечника, а кто успел их переработать, то — муку и отруби, масло и жмых. У Якова Алексеевича перекопали усадьбу, нашли в палисаднике макитры с медом и тоже забрали.

— Сведут нас в могилу красные поганцы, — бухтела Ефросинья Алексеевна, теща Якова Алексеевича, проживающая в семье дочери.

— Молчите, мама, не дай Бог, кто-то услышит! — осаживал ее зять. — Посадят, угробят!

— А хоть бы их черт на кол посадила, сукиных детей! — тише продолжала она ругаться.

Взялась за дело сама, чтобы никто не знал. И если бы не ее решительность, то, может, вымерла бы семья Якова Алексеевича.

Мамина бабушка Ефросинья Алексеевна с маминым братом Алексеем

Лето 1932 года было солнечное, теплое, с дождями и грозами, очень погожее. Колхозники работали от зари до зари, надеясь на обильный урожай. Главный агроном просил их, чтобы приводили на поля и на ток старого и малого (тогда колхозники работали не по обязанности, а по желанию). Не миновал и своей жены. Евлампия Пантелеевна очень мучилась грыжей, выматывающей ее болями, но должна была, дабы не упрекали мужа, что она дома отсиживается, туже увязываться и идти работать наравне со всеми. Работала в самом аду — на токе. В три смены и без исходных. Все, что уродило и было собранно, переходило на веялку через ее руки. И за тот каторжный труд женщинам-колхозницам за один день работы писали 0,50–0,75 трудодня, а на один трудодень в конце 1933 года выдали по 50 грамм зерна. Можно посчитать, как это мало.

Но я забежала наперед.

Так вот, 1932-й год был благоприятный и ничто не указывало на то, что до следующего урожая доживут не все — умрут от страшного голода. Но бабушка Ефросинья, наученная продразверстками и продналогами, не доверяла новой власти и втайне готовила запасы. Она часто оставалась дома одна, чтобы никто не мог видеть, что делает.

У них за огородом лежало колхозное поле, засеянное могаром, кормовой культурой, очень похожей на просо, только с более крупным зерном. Бабушка каждый день — в самую жарищу, когда все кругом замирало, прячась в тень, — выходила на это поле и незаметно нарезала охапку метелок. Потом сушила, вылущивала и прятала зерно. Когда могар собрали, она перешла на поле с льном. Через это поле ребятишки протоптали дорожку к колхозному ставку. Вот бабушка и выходила на прогулки, шла до воды посмотреть, чем внуки занимаются, и дорогой собирала семени льна.

Закон «Об охране социалистической собственности», который с осени 32-го года по лето 33-го запрещал людям вырвать в поле хоть стебель, приняли только 7 августа 1932 года. До той поры бабушка Ефросинья успела сделать заготовки на черный день. Лучшего она ничего не придумала и просто спрятала их на чердаке, куда редко наведывались.

С осени, как только закончился период сбора урожая и вышел упомянутый закон, в стране развернулись повальные обыски в частных дворах с изыманием съестных припасов. Людям не оставляли ничего. Обыски повторялись несколько раз, и всегда проводились неожиданно, так что избежать их никто не мог.

Для обысков приезжало очень много бойцов НКВД, они брали село в кольцо и продвигались от окраин к центру. В каждый двор заходила группа из пяти-семи человек, среди которых были представители местной власти и влиятельные активисты. Кричать и плакать не разрешалось, ослушивающихся усмиряли прикладами. Кто знает, может, это было и полезное для страны мероприятие, но не дай Бог из хама пана… — исполнители допускали перехлесты на всю катушку. Известно ведь: чем строже закон, тем больше злоупотреблений со стороны его блюстителей.

О том, что к ним приближаются уполномоченные с обыском, в семье главного агронома узнали, когда напасть была уже в соседнем дворе. Почему-то больше всего разволновалась бабушка Ефросинья, забегала по хате, заохала. А едва клацнула щеколда на воротах, ей вдруг стало нехорошо с сердцем. Со стоном и со звуками удушья она громко выскочила на свежий воздух, зашлась долгим кашлем, а потом осела на землю посреди двора, протягивая руки к вошедшим людям, словно прося у них помощи.

Следом за бабушкой метнулись остальные, не обращая внимания на группу тех, кто появился в их дворе.

— Вынеси уксус! — крикнула Евлампия Пантелеевна дочке и кинулась растирать больной виски.

— Ее надо перенести на кушетку, земля уже холодная, — забеспокоился Яков Алексеевич.

— Что случилось? — спросил энкэвэдист, наклоняясь над больной.

— Вот, — показала на мать хозяйка, выпрямляясь перед ним. — Сердце прихватило. Возраст, ей нельзя волноваться.

В это время малая Прасковья прибежала с уксусом и сунула его бабушке под нос, чтобы та понюхала. Больная разлепила глаза, увидела людей в военной форме.

— Умираю… — простонала тихо и снова потеряла сознание.

— Ой, мамочка моя, не умирай! — заголосила Евлампия Пантелеевна, падая на мать: — На кого же ты меня оставляешь…

К старшему уполномоченному наклонился представитель местной власти, шепнул о том, что это колхозный агроном, которому досталось батогов при организации колхозов столько, что он и куста боится. А больная старушка является местной дипломированной повитухой, тоже почти государственный человек. Слушающий хмыкнул, криво улыбнулся и махнул рукой сопровождающим, дескать, нам здесь делать ничего. И ищейки пошли дальше.

Бабушка Ефросинья постепенно пришла в себя, в самом деле, таки чуть не умерла.

— Не за себя переживала, — говорила гораздо позже,

рассказывая внукам о том случае, — за вашего отца. Посадили бы, сучьи дети, если бы могар и лен нашли, а там, гляди, еще и расстреляли.

Из могара зимой варили кашу, и того пропитания им хватило на всю зиму. Весной делали лепешки из семян льна. Их растирали в муку, разводили водой и запекали на разогретой кирпичине.

— Лепешки распространяли резкий неприятный запах, — припоминала мама, — были жирными и невкусными, от них тошнило и болел живот.

Интересно, что недавно я встретила оригинальный рецепт: булочки с льняной мукой — где предлагалось брать льняной муки наполовину меньше пшеничной. Комментарий гласил: «Страшные снаружи, полезные внутри». Полезность их заключается в эффекте очищения желудка. И это при наличии пшеничной муки, да еще в два раза больших объемах! Представляю, как чувствовали себя люди, евшие льняные лепешки, какие пришлось есть моей маме в голодный год… Но видимо голод они все-же утоляли.

* * *

Бараненко Яков Алексеевич был чрезвычайно скромным и, возможно, недоверчивым, излишне осмотрительным человеком, если здесь вообще уместно говорить о мере и чрезмерности. Подтверждением этому служит то, что дети не знали даты его рождения, никогда не видели и не держали в руках его документы.

Пришлось долго искать эту дату, опрашивать тех, кто когда-то дружил с ним или просто знал его.

Один из разговоров состоялась с Григорием Назаровичем Колодным. Он долго вспоминал как горько ему жилось с мачехой Татьяной Федоровной Рожко, рассказывал о своей родной матери Анне Ивановне Рябикиной, о ее гибели.

Анна Ивановна работала в колхозе и была в дружеских отношениях с Яковом Алексеевичем. Как-то в пору пахоты она попросилась работать в ночную смену, так как днем собиралась побелить внутренние стены хаты. Эту работу хозяйки всегда делали осенью, чтобы зимой в доме было опрятно и уютно. Яков Алексеевич разрешил. И вот, натрудившись за целый день и устав, женщина пришла на работу в ночь. Естественно, заснула на плуге, свалилась под лемехи и погибла.

— Мамы не стало в 1933 году, обидно погибнуть после такого голода, мы ведь пережили его, и все уцелели… Назар

Григорьевич, мой отец, был на тридцать лет старше мамы, очень любил ее, до конца жизни берег память о ней и все до мелочей рассказал мне — единственному, кто разделял с ним горечь утраты. Так он утолял тоску по маме.

Вспоминая отца, Григорий Назарович говорил о его молодости, об учебе на ветеринарном отделении Киевских высших Земельных курсов в 1885–89 годах. Назар Григорьевич дружил с Яковом Алексеевичем, тоже там учившемся в неспокойное время 1913–17 годов, когда надвигались революционные события. Только мой дедушка учился на отделении земледелия (агрономии). Разница в возрасте не мешала им и в дальнейшей жизни часто навещать друг друга и вспоминать замечательную пору киевской юности.

Четырнадцатилетний подросток Григорий (Григорий Назарович почему-то запомнил, что тогда ему было именно 14 лет) отирался возле них, слушал интересные беседы. Вот из тех бесед и запомнил, что день рождения Якова Алексеевича приходился на 18 февраля. Естественно, по старому стилю, ибо до реформы календаря он не дожил. А по новому стилю это будет плавающая дата: 1 марта в високосные годы и 2 марта в обычные. Но так как дедушка родился в високосный 1896 год, то, скорее всего, датой его рождения было бы названо именно 1 марта.

Второй раз я услыхала о дне рождения дедушки Яши в разговоре, возникшем по печальному поводу.

На время написания этой книги еще была жива Вера Петровна Шерстюк, женщина, которая в качестве младшего медицинского работника присутствовала при моем рождении. Кроме того, она была подругой юности моей бабушки по отцу — Александры Сергеевны Феленко (по первому мужу Бар-Деляковой, по второму Николенко). Все это в сумме давало ей повод считать себя нашей родственницей.

Яков Алексеевич Бараненко

И вот до нас с мамой дошли слухи, что она обиделась за то, что мы не сообщили ей о смерти моего отца. А то она, дескать, могла бы прийти на похороны. Какое там «прийти» в ее возрасте?! Просто она хотела с нами увидеться.

Еще не истекло сорок дней как не стало папы, и мы пошли к ней с пирожками, конфетками, сладкими напитками, чтобы помянуть его. В хату она нас не пригласила, подозреваю, что там было не убрано и грязно, как бывает у одиноких стариков, чего она стеснялась, а вот во дворе мы постояли почти с часик. В основном говорила она — соскучилась по звучанию собственного голоса. Говорила с такой поспешностью, будто боялась не успеть все рассказать, или боялась, что мы уйдем и всего не дослушаем. Вспоминать начала издалека: как еще девочкой бегала на

вечерницы с моей будущей бабушкой, как они влюблялись в парней, выходили замуж.

— А твой дедушка Яков был моей первой любовью, — вздохнула она, — виновато взглянув на меня.

— Неужели? — я искренне поразилась.

— Да это было чисто по-детски! Не думай чего плохого.

— Я и не думаю, — успокоила я ее. — Мне просто интересно все знать о дедушке.

— Он был на пять лет моложе меня, — начала она рассказ. — Как сейчас вижу — веселый, красивый, с румяными щеками, каштановая шевелюра вьется, глаза горят. Как-то гуляли мы зимой в Дроновой балке — уже почти взрослые были, а глупые, — комментировала она. — Теперь в таком возрасте дети другим занимаются, а мы на санках катались. Вот он мне и говорит, что сегодня ему исполнилось четырнадцать лет. «Ой, поздравляю тебя, Якотка!» — я заплескала в ладони и приблизилась к нему, чтобы поцеловать в щечку. Но он обвил рукой мою шею и поцеловал меня первым, в губы. Потом покраснел и сказал, что в такой день я не должна обижаться на его смелость. Это было, как сейчас помню, восемнадцатого февраля. А почему я запомнила?

— Почему?

— Это был день рождения моей сестры, умершей в младенчестве. У моей мамы только один ребенок умер, именно эта девочка, — сказала она. — И в нашей семье всегда ее помнили.

— Понятно. Вот за этот рассказ спасибо, — растрогалась я.

— Только ведь по старому стилю, — предупредила она, увидев, что я схватилась записывать эту искомую мной дату и неожиданно найденную здесь.

— А вы не ошибаетесь? Может, он пошутил? Мальчишки, они такие…

— Ты что? Я его потом в продолжение долгих лет в этот день поздравляла, а он поздравлял меня в мой день рождения. Такая у нас тайная любовь вышла.

— И больше ничего?

— Ого! «Больше ничего», — перекопировала она меня. — А чего ты еще хотела? Мы тогда добродетельными были.

Вдруг Вера Петровна сказала такое, от чего я онемела.

— Хорошо, что я не вышла замуж за Якотку.

— Почему Якотка?

— Так его называли родители. Ну и мы тоже — как в семье, так и мы. Он в детстве говорил не «ягодка», а «якотка». Так вот я скажу тебе, что ему суждено было умереть страшной смертью за то, что взял на себя Богово ремесло — спасать людей. Ты же

ничего не знаешь! А если бы не он, то вот это кладбище, — она скрюченным пальцем повела за угол дома, где виднелись кресты, — было бы намного большим. Или там… — она снова показала на этот раз на стадион, построенный на месте давних захоронений. — Там в рвы бросали умерших от голода, без гробов, без крестов. И среди них могли бы лежать те, кто ныне живет и не знает, кому тем обязан.

— Говорят, что дедушка Вернигора многих спасал от голода, — сказала я, чтобы показать знание вопроса.

Вера Петровка остро посмотрела на меня, замолчала.

— Я что-то не то сказала?

— Да то ты сказала, — успокоила меня Вера Петровна. — И Вернигора спасал… Только почему? Потому что и Вернигору спасали. Ведь до революции он служил у пана Миргородского ключником, был его правой рукой. Жил очень и очень не бедно. Так что бы с ним стало, если бы новая власть ему это припомнила? Вернигора должен был людей благодарить за молчание. Понятно?

— Не совсем, — призналась я. — Ведь вопросы раскулачивания или высылки люди не решали.

— Еще как решали! Ты что думаешь? Кто-то по суду это решал?

— Я ничего не думаю, я просто не знаю этого вопроса.

— Списки на раскулачивание и высылку составляли в районе, и то — по поданным с мест предложениям. А решение принимали тут — на собрании жителей села. Все законно было: протокол, голосование, подписи. Так что все мы сами и решали. Зря теперь на Сталина это валят. И списки мы подавали и голосовали тоже мы. Так что Вернигора знал, что отрабатывал. Теперь-то поняла?

— Поняла, — сказала я, и посмотрела на маму, продолжавшую молчать.

— Только где бы он брал зерно без Яши, не скажешь? Да и придумал бы сам такое, сам решился бы на такое?

— Как знать…

— Вот так и знай, дочка, что в этом деле все было продуманно. Яков Алексеевич умел тихо и незаметно ворочать хорошими делами, и людей на них организовывать. Наученный тому был, конечно, но и богом не обделенный на смекалку. Например, по его почину на вашем краю, напротив Рожновского хутора, разрыли русло Осокоревки, расчистили котловину между высокими холмами, построили плотину и образовали пруд. Три года долбились, землю где лопатами копали, где распахивали плугами, потом грузили на телеги и вывозили наверх волами, лошадьми. Каждый день в свободное время, как мурашки, рылись

и сделали-таки. С того времени детям было где купаться. А потом достал где-то мальков и запустил в ставок.

— Да, вот моя мама рассказывала об этом в фильме, который здесь снимали телевизионщики.

— Ну, Прасковья Яковлевна того, о чем я сейчас скажу, не знает, так как ее тогда еще на свете не было. Я уверена, что именно этот ставок и натолкнул Яшу на мысль в голодные годы спасать людей. Почему спросишь? А вот почему.

Сначала оно было вроде забавы, молодечества. Тогда молодые мужики не занимались глупостями, а делали полезные дела. Яков Алексеевич увлекающийся был человек, горячий. Сначала все больше сады садил. Себе посадил, братьям родным, двоюродным, другим родственникам саженцы возил, учил ухаживать за деревьями. У нас здесь искони никто не знал таких ягод, как малина, смородина. Вот знали шелковицу и крыжовник, и все. А он начал садить ягодники, людей к этому склонять. А какая радость от этого была детям, божье милостивый! Они днями сидели в тех кустарниках, клевали как воробьи.

Увлечение садами у него продолжалось несколько лет. Но деревья и кусты — не картошка, их каждый год садить не будешь. Кончило тем, что он завез фуру саженцев, собрал вокруг себя садовников и они сообща посадили тот сад, что рос за нашими огородами, пролегая от Бигмивского холма до станционного бугра. Но это уже было перед самой войной. А за два десятилетия до этого он загорелся ставком.

— Я помню этот сад! — изумленно перебила я рассказчицу. — Мы с девчатами ходили туда собирать клей с абрикос, поесть ранних черешен и вишен. Иногда «белым наливом» лакомились, сливами. Его охранял заикающийся дядька по имени Николай Матвеев, а по-уличному — Душкин, а еще его Пепиком называли. Ох, и боялись же мы его! Но он никого не трогал. Почему о нем такая слава была, будто он страшный и злющий?

— Это он тебя не гонял, а другим доставалось от него на орехи. Ага, так вот о ставке, — продолжала Вера Петровна, чтобы не потерять нить рассказа. — После садов взялся Яков Алексеевич за ставок. А здесь, сама понимаешь, одному не управиться. Вот он и собрал вокруг себя мужиков, способных к хозяйственным делам. Ой, умора! — весело рассмеялась рассказчица. — Они так копировали его! Отпускали усы и ходили с кнутами в руках, как он. Но Яков Алексеевич ездил на бедке, ему кнут для управления нужен был, кроме того, кнуты он сам изготавливал в виде рукоделия, любил это дело. А те — и себе. Чисто: куда конь копытом — туда и жаба клешней. Короче, заводилой он здесь

был. За непосильные дела не брался. Но если к чему-то прикасался, то доводил до конца.

Ставочек люди считали его собственностью и называли Баранивским. Яков Алексеевич зарыбил его, и дело пошло — ребятишки купаются, рыбу ловят, раков дерут, забавляются, плавать учатся. Все хорошо! А здесь двадцатые годы начались гражданской войной, разрухой, засухой… Впереди замаячил голод. Сохрани меня матерь Божья, спаси и помилуй. Что делать? Яши двадцать пять лет было, молодой, полон сил. Недавно женился, дочка у них с Евлампией родилась, мама твоя. Надо было как-то выживать. Опять собрал он своих проверенных товарищей, посоветовался и решили они рыбу не ловить, а перекрыть ставок сетками, чтобы она в Днепр не ушла, и накапливать запасы на зиму. А с поздней осени та рыба спасала людей без счета. Выловили даже мальков, подчистую всю поели. Отваривали вместе с чешуей, перетирали на кашу, заправляли мукой, если находилась, или маслом, подсаливали и ели по ложечке. Отвар пили. Ссор или недоразумений не было, дружно жили, честно.

Думаю, тот ставочек и та рыба надоумили Яшу в 33-м году серьезно взяться за спасение колхозников, тем более что он, как руководящий человек, отвечал за них перед Богом. И опыт двадцатых годов оказался кстати. Конечно, теперь ему было труднее, ведь утаивать часть урожая — это далеко не то же самое, что ловить рыбу и делить в коллективе. Хотя теперь и пруд считался колхозным и нельзя ему было распоряжаться им по-своему усмотрению. Ну, да надежные товарищи возле него всегда находились.

— Все-таки надо отдать должное и этим людям, — сказала я.

— Если говорить по правде, то Илью славгородцы не обошли вниманием: благодарили, уважали. А вот Якова Алексеевича забыли. Хуже того, не помогли его дочери в 47-м году, когда она тебя носила, — бросили на произвол судьбы. Тот же Илья не помог! Какой позор! Она пухлой была, муж ее уже не вставал, старшая дочь без сознания лежала. Если бы не ее брат Алексей, то не было бы их всех сейчас на свете, как и тебя. Вот так с Яшей поступили. Неправильно и неправедно! И это при том, что он всего четыре года назад принял лютую смерть от немцев. Он свободой, даже жизнью своей рисковал, помогая славгородцам выживать в страшные времена. Один 33-й год чего стоит!

— Парадокс, — сказала я. — Это давно замечено: люди всегда ожесточаются против своих настоящих благодетелей. И очень часто почитают не самых главных героев.

Вера Петровна покачала головой, затихла. Ее глаза уже плохо

видели, тяжелые очки с массивными линзами то и дело сползали на острый нос. Для долгого разговора ей не хватало воздуха в груди. А мысли не давали покоя. Не часто ей выпадала удача встретиться с внимательным слушателем, а еще реже — с заинтересованным. А я жалела, что не взяла с собой диктофон. Если бы знать!

— И самого Яшу не спасли! — вдруг неожиданно воскликнула Вера Петровна, будто проснувшись после минутной спячки. Она подняла сухой кулачок и пригрозила безадресно: — Люди не стоят жертв и подвигов! Иисуса предали… — так же внезапно ее воодушевление исчезло, и она ударилась в итоги: — А высший судья, Он есть. И вот что ни говори, а Яша пошел против Него. Бог по заслугам наказывал грешников, а Яша спасал их. Крамола! С одной стороны — Бог, а с другой — грешная тля безымянная. А Яша — между ними. За кого грудь подставлял, скажи? — она наклонилась ко мне, подслеповато вглядываясь здесь ли я еще.

— Жалко дедушки…

— Наказал его Бог. И людей наказал, отняв у них такого человека.

* * *

Итак, Бараненко Яков Алексеевич родился 18 февраля 1896 года в поселке Славгород на улице, соседней со Степной. Улица Степная всегда так называлась, а вот соседняя — часто меняла названия, поэтому я не знаю, как она называется теперь. Вдоль дедушкиной родительской усадьбы, поныне называемой Мусселевским двором, проходит переулок, так что она была угловой. На моей памяти через переулок напротив их дома жила семья Павла Доли с тремя дочерями — Валентиной, Зинаидой и Аллой. Напротив через улицу жила Настя Петровна Громич с двумя мальчишками — Володей и Евгением. Я ее знала уже вдовой. А по диагонали через перекресток стоит дом Анатолия Тищенко. Родительский дом дедушки Якова не сохранился, но еще недавно показывал спину переулку, а торцом смотрел на улицу.

Как уже известно, Яков Алексеевич имел образование, приравниваемое к высшему. В селе он стал первым и единственным от революции и до самой войны агрономом колхоза. Дело свое знал хорошо, за что был уважаемым и ценимым человеком как простыми колхозниками, так и начальством.

Его род — выходцы с Полтавщины. Дед Якова Алексеевича с двумя братьями приехал в Славгород в 1859 году и осел здесь навсегда. История с этими братьями — чудная: их всех звали Федорами. Тогда имена детям давал батюшка согласно святцам, поэтому так и вышло.

Славгородцы, чтобы не морочиться, оставили за старшим братом имя Федор, за средним — Федя, а за младшим — Федун. Подобные метаморфозы произошли также и с фамилиями братьев. Их родовая фамилия — Броневские — видимо, ради удобства произношения, трансформировалось в Бараневские, а после 1861 года, когда массово восстанавливались документы граждан, эту фамилию записали на манер запорожских казаков — Бараненко. Хотя последнее так и не прижилось в употреблении. Сегодня редко услышишь, например, Павел Бараненко, а чаще — Павел Бараневский. Так называют почти всех потомков трех Федоров. Ради исторической истины надо сказать, что фамилия, которая так неудачно изменялась со временем, была не для всех братьев родной — они были сводными братьями.

Отец Федора, старшего из них, был из рода известных на Полтавщине землевладельцев Миргородских. Его родительская семья земли не имела, а жила за счет небольшой гончарни, что обеспечивала средний достаток. Но родословную семья имела хорошую, говорят, что шедшую еще со времен Петра I, когда их предки впервые занялись керамическим ремесленничеством. Отец Федора — Алексей Юрьевич Миргородский — умер рано от неизвестной болезни, а мать Елена (Линн) Евгеньевна Миргородская — урожденная Муссель — вышла замуж вторым браком за главного инженера фабрики Броневского Якова Михайловича. В надежде, что этот брак будет долгим и крепким, она переписала себя и сына Федора на его фамилию.

В новом браке Линн родила еще двух мальчиков, но последние роды были тяжелыми и окончились ее смертью. Так Федор остался круглым сиротой, а его братья — Федя и Федун — без родной матери. Яков Михайлович тяжело пережил смерть жены, которой гордился и от которой в значительной мере зависел материально. Он ушел в запои и вскоре умер.

Детей разобрали родственники. Федора воспитывали в семье, Григория (Грема) Евгеньевича Муссель, дяди по матери, откуда пошла еще одна фамилия дедушки Якова — Муссель. Семья опекуна оказывала содействие образованию Федора. Он окончил Нежинскую гимназию. После этого дядя оставил племянника в своих мастерских по изготовлению ковров. Младшие братья воспитывались у Михаила Михайловича Броневского, дяди по отцу, простого служащего. Получив от отца дурную

наследственность, имели пороки развития, достигли не очень больших успехов: Федя знал грамоту, умел изготавливать деревянные изделия, присматривать за лошадьми; Федун осилить грамоту не смог, и вдобавок был глуховат.

Со временем Григорий Евгеньевич Муссель отдал племянникам остатки родительского наследства и благословил на самостоятельную жизнь. Узнав от дальней родни, владевшей в Славгороде своими землями и кирпичным заводом, что здесь проводятся большие рекрутинговые ярмарки, Федор забрал младших братьев и приехал сюда с намерением начать собственное дело. Родственники Миргородские помогли ему выстроить жилище на уже упомянутой Мусселевской усадьбе. Известно, что скоро по прибытию в Славгород Федор взялся за швейное ремесло.

Вскоре он женился, взяв за Екатериной Нестеровной Ясеневой — дальней родственницей со стороны отца — небольшое приданое и открыл швейную мастерскую. Дело процветало, заказов было много, в скором времени он основал такую же мастерскую на разбросанных хуторах, теперь вошедших в город Запорожье, а при ней открыл портняжную школу, что-то наподобие нынешних портняжных курсов.

В 1867 году у Федора родился сын Алексей, которому Федор передал собственность в Славгороде. Алексей Федорович в 1896 году дал жизнь Якову Бараненко, в тяжелые времена ставшему славгородским спасателем. Мама Якова Алексеевича Арина (Ирма) Семеновна была из известного рода Хассен, владельцев славгородской хлебопекарни.

Начиная с первых лет XX столетия ярмарка, кормившая почти всех славгородцев, начала приходить в упадок, а с нею приходили в упадок и все обслуживающие ремесла. Алексей Федорович не растерялся, взялся сам за портняжничество и тем жил, а Арина Семеновна на дому пекла мучные изделия под заказ или сдавала продукцию торговцам. Поэтому Алексей Федорович решил своим детям дать уже не ремесла, а профессии, причем современные. Старшего сына Якова послал в Киев изучать земледелие.

Из этой ветви рода Бараненко (а на самом деле — Муссель) ныне продолжает эстафету Олег Алексеевич Бараненко, который передал ее сыну Алексею Олеговичу Бараненко. Живут они в Петропавловске-Камчатском (Россия), род занятий — компьютерные технологии.

Какое-то время Федя и Федун жили возле Федора, а потом Федя завел свою семью. Он так и продолжал заниматься лошадьми, только теперь открыл конюшню для приезжих, держал при ней ветеринара, заготовителя фуража, конюхов. Со временем

пытался наладить изготовление карет. Он оказался пылким приверженцем хмельного питья, как и его отец. Скоро это закончилась трагически. После себя Федя оставил шестеро дочерей, двое из которых умерли в юности. Мальчиков у него не было.

Федя и Федун, к сожалению, стали родоначальниками ветвей Бараненко с осложненной наследственностью: глухотой, склонностью к помешательству, умственной ограниченностью и другими тяжелыми недугами.

* * *

— Интересно, сколько тогда в нашем поселке было людей с высшим образованием? — спросил Женя Вернигора.

— О, может, и нисколько! — откликнулась я. — Допускаю, что после ликвидации НЭПа они убежали отсюда.

— Были люди с образованием, но почти все приезжие, чужие, — поправила меня мама. — Да, большинство из них, как рассказывал отец, после революции уехали. С высшим образованием оставался колхозный ветеринар Колодный Назар Григорьевич. О нем я знаю, так как он учился на тех же Высших земельных курсах, что и отец, только немного раньше.

— А врачи, учителя?

— Нет. Врачей вообще не было, людей лечили фельдшера, и то — к ним надо было ехать в район. Женщин обслуживали повитухи, имевшие начальную медицинскую подготовку и разрешение на деятельность. Одной из них была моя бабушка Фрося, мамина мать. А учителя никакого образования не имели, кроме среднего. Это уже среди людей моего поколения был кое-кто с образованием, и то мало.

— Интересно, Яков Алексеевич не жалел, что не уехал отсюда вслед за другими? — спросил Николай Николаевич.

— Не знаю, никогда об этом не говорил, — сказала мама. — Уезжали-то производственники, в том числе и производители услуг. Например, нотариусы, их тут было много. А куда земледельцу ехать от земли? Мой отец вообще не вспоминал о своем дореволюционном образовании. Даже иногда казалось, что он боялся его. Мало кто знал, что он учился в Киеве. Считали, что свои знания он получил из практики. А у нас своей земли никогда не было!

— Можно сказать, что вы не из крестьян?

— После окончания учебы отец работал по найму, вел земельные хозяйства, присматривал поля. А его отец, дедушка

Алексей, земли совсем не знал. Он держал мастерскую по изготовлению верхней одежды, шил на заказ. Помню, какое было приятное событие, когда дедушка Алексей пошил отцу новую чумарку[4]. В ней отец и смерть принял.

— И за него на расстреле никто не поручился, никто не спас! — сказала я с укором.

— Судьба такая.

Имена Якова Алексеевича Бараненко, как и его отца Алексея Федоровича Бараненко, увековечены на доске памяти жертв славгородского расстрела, случившегося 8 марта 1943 года. Есть там и имя Евлампии Пантелеевны Бараненко (Сотник), моей бабушки, единственной погибшей в тот день женщины, которую немцы расстреляли в собственном дворе. Она подставила висок под немецкие пули, но двух своих сынов спасла. Пока шла ее стычка с карателями, мальчики успели убежать.

* * *

Я часто думаю о Славгородских спасателях Бараненко Якове Алексеевиче и Вернигоре Илье Григорьевиче и удивляюсь, где они брали силу на то, чтобы сознательно, на протяжении многих лет, в постоянном страхе, побеждая инстинкт самосохранения, терпеливо спасать людей. И знать, что им за это ничем не воздастся, не будет легенд и мифов, памятников и мемориальных досок.

Что ими руководило? Ведь любое самопожертвование рассчитывает на что-то: самопожертвование любви стремится увековечиться в своих наследниках, самопожертвование творчества — в произведениях искусства. А самопожертвование добра, бескорыстия, преданного служения народу? Это — высшее самопожертвование, ибо сверхъестественное, сверхчеловеческое, божеское.

Итак, помним их! Назовем еще раз поименно:

Бараненко Яков Алексеевич Вернигора Илья Григорьевич

Пусть проснется в нас великая благодарность им за нашу состоявшуюся жизнь. Да воздастся им за это в иных мирах, где они теперь пребывают!

Часть 4. Нечеткие горизонты

Неожиданно для себя Юрий Артемов, степняк, оказался на море. Его еще долго преследовали воспоминания о Славгороде, о друзьях и знакомых, оставивших в нем незабываемый след, повлиявших на его судьбу и мировоззрение. Но пришло время и события новой жизни тоже утвердились в кладовой впечатлений.

Он хорошо помнил, как впервые свободно вышел в Севастополь. Тогда стояла середина октября, пора, которая раньше часто навевала на него грустные настроения, желание побыть в одиночестве. Он спустился на пристань, где едва слышно плескалось обманчиво-покорное море. Тихо и пусто было в гавани, охваченной крепкой рукой каменного причала, из которого вытекал и убегал прочь густой и тусклый свет осеннего дня. От нагретой за день гальки еще струилось тепло, но оно уже было слабым. Низко над водой пролетел баклан, дважды ударил крыльями о морскую гладь и поднялся выше. Юра провел его глазами, а потом посмотрел на небо. Там появился полный месяц, рыхлый и бледный, заблестела вечерняя звезда. Как хорошо и интересно было наблюдать те вечерние сумерки на море, где множество неповторимых мелочей, отличных от степных, рождали ощущение сложности, разнообразия мира, в котором он живет. И он ощущал себя затерянным в его беспредельности.

Все было так и не так, как он знал. Дальше, в ночь, вечерняя звезда из золотой стала серебряной, луна уменьшилась в размере, а ее контуры стали ровнее и четче. Такое он наблюдал и дома. Но вот с моря дохнула грозная сила, будто там проснулся и заворочался какой-то живой гигант, но чужой и своенравный, враждебный всему на земле. Дунул ветерок, забились о берег почерневшие волны. Белая пена зашипела, извиваясь и высвобождаясь, будто ее держала в плену невидимая грань между водой и сушей. Юра почувствовал беспокойство, еще что-то незнакомое и грустно тревожное. Нет, в степи вечер не настораживает людей дыханием мистических существ, не страшит бездонными красками, не шипит как змея, не корчится в борьбе земли и воды — двух стихий, таких разных по характеру. В степи он ласкает, успокаивает кротостью.

В другой раз он наблюдал последние дни позднего бабьего лета. Море ненадолго восстановило летний цвет, но уже лежало перед Юрием хмурым, разгневанным. Не искрилось, не играло красками, не грелось беззаботно в бархатно-ласковых лучах солнца. Оно настраивалось на долгий холод, и раздражалось, сдержанно свирепствовало, и над землей нависало лишь его

тяжелое настроение. Море не любило зимы, и эта нелюбовь портила его характер. Как раз начинался прилив, и оно хищно надвигалось на берег, безразлично к тому, что в его наступлении крылась опасность для хрупкого земного мира. Куда девалось его кроткое мурлыканье, мягкое трение о бока планеты, когда оно казалось смирным и приручённым созданием!

Далеко на горизонте оно стало темно-синим и оттуда накатывало на притихшие окрестности свои мощь и злость. Будто чешуей, его поверхность укрывалась зыбью, казалось, это бралась судорогой его хрупкая кожа — от капризов и недовольства. Над ним висело небо, отражающееся в нем как в зеркале, — глубокое, синее, студеное. Иногда там появлялись нагромождения туч, тогда на воду падали темные пятна теней, и море дурнело от этого. Казалось, оно теряло целостность, монолитность и превращалось в хаотичное сплетение первичных диких субстанций.

Юрий любил размышлять о силах земных, о борьбе стихий, о фатальном соединении поражений и побед, и поэтому охотно наблюдал характер моря, которого раньше не знал и не мечтал увидеть.

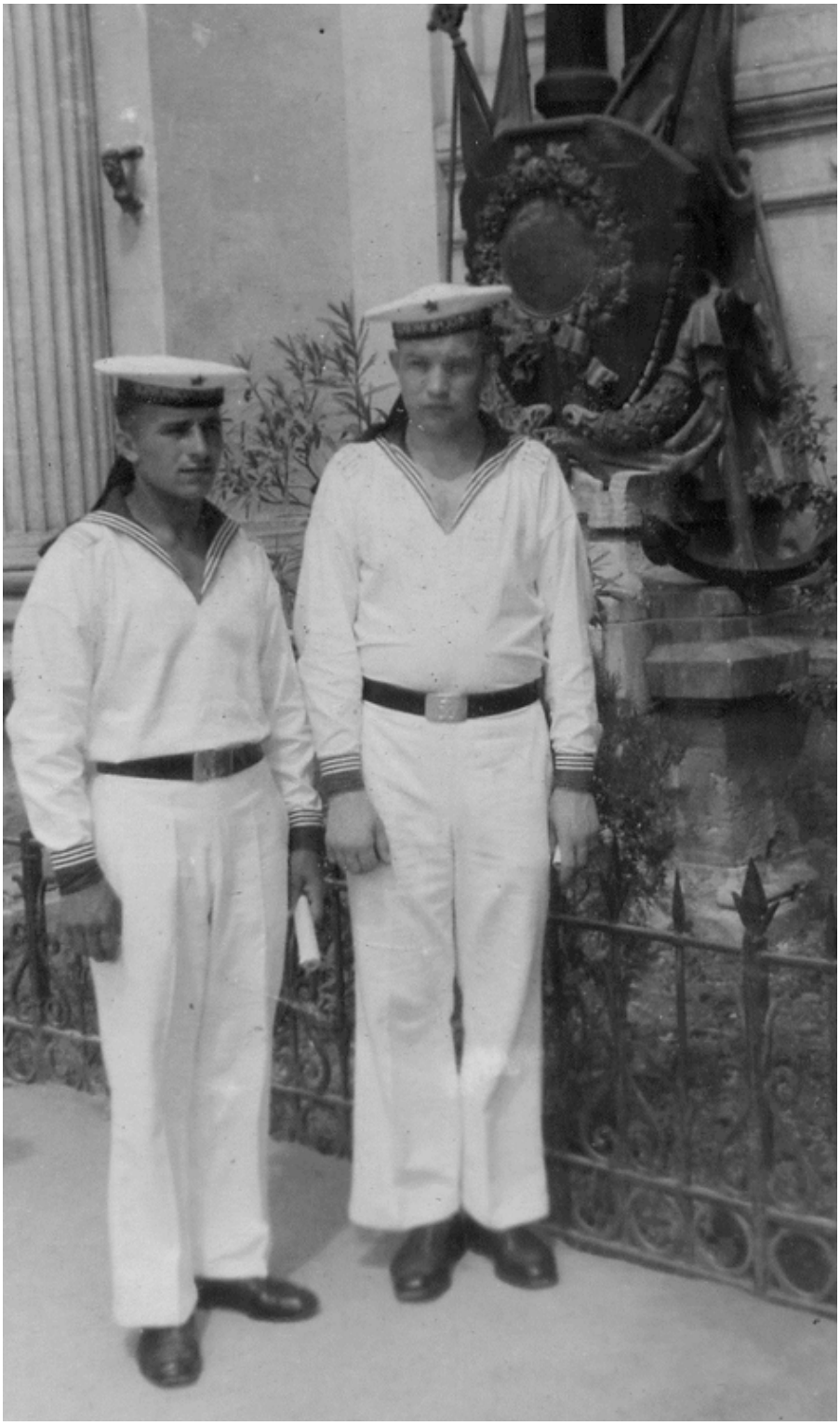
Почти в каждую увольнительную он ходил в гости к Марии Аврамовне Кириченко, бывшей соседке, что вышла замуж за военного моряка и жила в Инкермане. Правда, ее муж был ненастоящим моряком, сухопутным — служил в военном порту, где имел дело с боеприпасами и оружием. Но общие темы для разговоров все равно находились, и этого было достаточно, чтобы Юре чувствовать себя в гостях не чужим. Тем более что тетка Мария, в отличие от многих других женщин, выбившихся в люди и открещивающихся от деревенщины, относилась не только к Юре, а ко всем славгородцам приветливо, гостеприимно. Хоть жили они с мужем и маленькой дочкой в тесной однокомнатной квартире, но место для земляков у них всегда находилось.

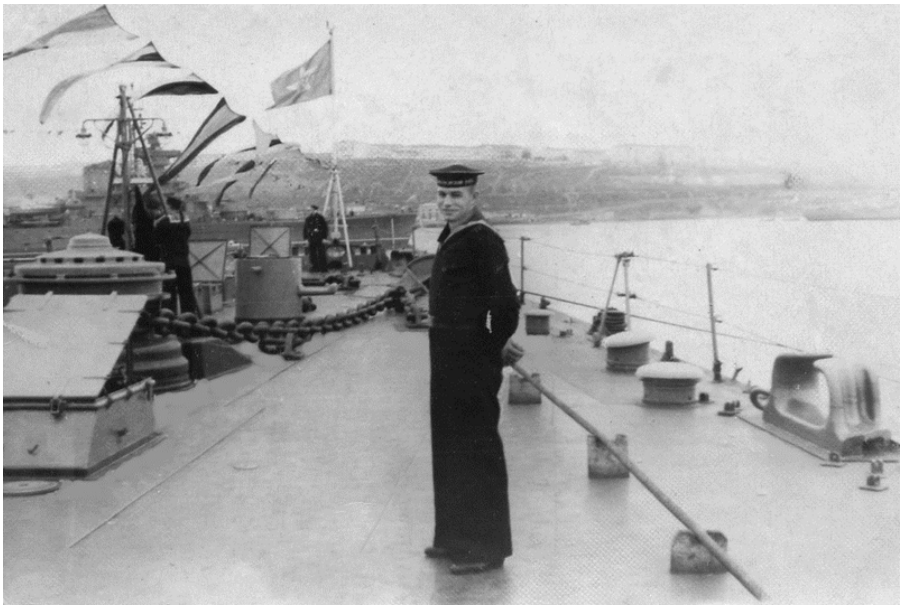
Юре понравилась их дочка Надя, симпатичное создание. Он любил ребятню. Ведь в детстве только то и делал, что нянчил братьев, придумывал для них игры и забавы, вытирал носы и даже стирал измазанные грязью одежды, разве что не починял их, так как не умел. Но то были мальчики, как ни крути, а не такие потешные, как эта кукла. Со временем он уже не представлял себе иного досуга, чем возиться с Надей. Удивительно, что Юра, выросший без отца, без ласки и заботы, был таким домашним, любил уют семейного гнезда, не чурался женской работы. Он помогал Марии Аврамовне делать покупки, готовить еду, убирать квартиру, и мог подолгу играть с ребенком на полу, изображая то кота Котофеевича, то лошадку или злого песика. В этом доме он

стал своим, его ждали, к его увольнительным готовились, чтобы побаловать мальчишку чем-то вкусненьким, дать возможность отдохнуть, спокойно сходить в кино или погулять с маленькой Надей. Все-таки на линкоре служба была суровой, трудной.

Но то было чуть позже, а сначала, как и все, Юра прошел полугодичную подготовку на берегу, в учебном отряде. Выбирать самому корабельную специальность ему не дали — его призывали конкретно на флагман, а там нужны были простые матросы.

МОРСКИЙ ФЛОТ





Юрий Артемов — навеки с линкором (на общих фото — крайний справа)

Позже он писал домой: «Я рад, что теперь имею две специальности — токарь и моряк. Но, кажется, дальнейшую

жизнь свяжу с морем. Вот отслужу и подамся на китобойную флотилию. Я полюбил море так, что ничего с собой поделать не могу, да и заработать здесь можно больше, чем в другом месте. А вы не обижайтесь, я вам буду помогать и никогда вас не забуду». Письмо датировано 7 мая 1951 года, в нем он поздравлял родных с годовщиной Великой Победы.

* * *

Юра каждый год приезжал в отпуск. В тот приезд, когда он познакомился с Ниной, была ранняя весна, которая здесь, в степи, целомудрием и грехом искушала душу, навевала мечты. Мысли рождали желания, на осуществление которых парень надеялся после демобилизации.

— А девушка у тебя есть? — выпытывала бабушка. — Неужели не завел в Днепропетровске?

Она очень не хотела, чтобы Юрина жизнь прошла на море. Он был ее первым внуком, чуть моложе младшей дочери Зины. Так и нянчила их вместе. Юру любила двойной любовью, желала бы всю жизнь прожить рядом с ним. Потому что видела в нем единственную опору и советника, единственного настоящего защитника в их роду. А он поглядите что придумал — морю себя посвятить.

— Да была там одна, но это несерьезно, — отвечал Юра.

— Почему?

— Да кто же меня будет ждать пять лет? Я в Севастополе себе девушку найду, — говорил с улыбкой.

— Еще чего не хватало? — возмущалась бабушка. — Не вздумай, там все девушки — вертихвостки. Лучше уж здесь ищи.

Чтобы отвлечь бабушкино внимание от этой темы, Юра вытащил пачку фотографий, достал из нее ту, где «Новороссийск» на всех парах шел в море, а за его бортом оставался след в виде бурлящей воды.

— Вот посмотрите, где я служу. Видите, какой мощный этот линкор, как море поднимает.

Бабушка моря никогда не видела. Прожила на суше, с метлой и лопатой всю жизнь, даже на Днепре не была. Знала только славгородские ставки. Но что там они? Так, черные жирные лужицы.

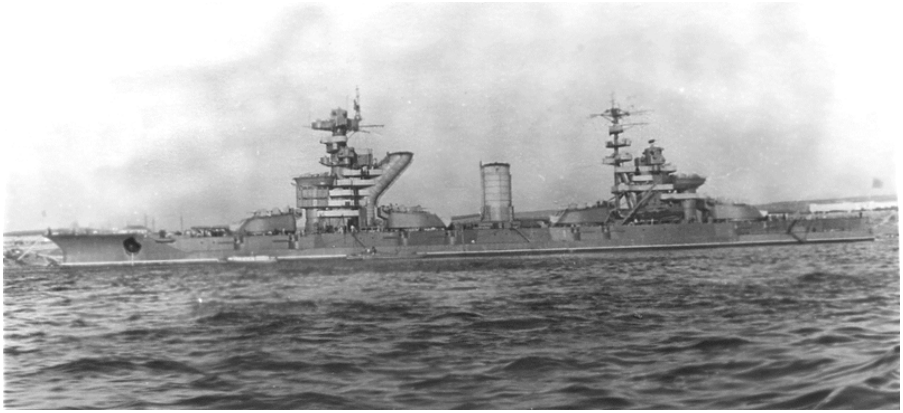
— Тебе не страшно плавать на этой железке? Не дай Бог еще опрокинется, глупая, и утонет.

— Да что вы, бабушка?! — воскликнул Юра. — Такое нельзя говорить.

Юра любил море и свой линкор. Он мог часами рассказывать о нем.

— Что же оно такое, твой линкор? — допытывалась Мария Осиповна. — Слово такое странное.

— Линкор — это сокращенно «линейный корабль». А вообще, это — военный корабль, оружие такое морское. А означает это название то, что он — самый большой, лучше других вооружен, надежнее защищен.



Линкор «Новороссийск» из дембельского альбома Юрия Артемова

— И кто его батька душу такое придумал, чтобы на железном корыте плавать по морям еще и по людям стрелять… — ругалась бабушка Мария.

Это уже был не вопрос, а озадаченные рассуждения вслух, но внук продолжал разговор, зная, что бабушку все интересует. Так же она его и о городе расспрашивала, когда он учился в Днепропетровске, о больших заводах и магазинах, проспектах, театрах.

— Да, линкоры предназначены для боя, но только для решающего, а не так — чтобы по воробьям стрелять. А придумал их английский адмирал Фишер.

— Фишер, а-а… — медленно повторяла бабушка, вслушиваясь в эти звуки, словно что-то тяжело соображала, взвешивая для себя. — И твой линкор тоже Фишер сделал?

— Мой линкор придумал итальянский морской конструктор Масдеа в 1908 году, а построили его позже уже другие люди. Корабли, бабушка, изготавливают на заводе, который называется «верфь».

— О, так он моложе меня!

Юра знал о своем линкоре все: историю его создания, боевую судьбу, биографии причастных к нему людей, ну и, конечно, технические возможности и характеристики. Не обо всем он мог и

имел право рассказывать, но и то, что рассказывал, было интересно слушать. Бабушка и тетя Зина — его основная аудитория — узнавали много нового и странного для себя. Линкор «Новороссийск» был для них легендой, чем-то сказочным.

А он и в самом деле был легендой.

В Славгород — погостить у своей матери — иногда приезжала Мария Аврамовна Кириченко. Так она рассказывала, как любуется флагманом Черноморского флота, когда он возвращается в бухту с морского похода. Это зрелище вызывало восторг не только у нее — многие севастопольцы приходили тогда на причал встречать своих родных и близких и посмотреть на «Новороссийск». Под звуки корабельного оркестра его громада медленно как в сказке заходила — вплывала! — в Севастопольскую гавань с расчехленными пушками. Моряки флагмана ровными шеренгами стояли вдоль бортов и на его надстройках. Шлюпки с матросами висели на бортовых шлюпбалках в полной готовности к спуску на воду, а командирский катер раскачивался на стропах грузовой стрелы. На почтительно замершем внутреннем рейде главный линкор Черноморского флота приветствовали экипажи всех военных кораблей, там находящихся. На месте стоянки, где должна была состояться швартовка, его ждали дежурные буксиры — они поддерживали линкор и помогали встать между якорными бочками, развернув кормой к задней из них.

Несмотря на то что о линкоре было интересно слушать, но как ни крути не исчезала тема о девушках. А почему? Да потому что молодой мужчина должен когда-то найти себе пару, вот домашние советницы и приставали к Юре. Тревожились они не напрасно, потому что Юра был очень красивым юношей, а это, согласитесь, достаточно опасная данность. Бог щедро дал ему всего: роста, стройности, утонченности, красоты движений, очаровывающей пропорциональности форм. Скульптурно совершенными были черты Юриного лица, а его выражение освещалось абсолютно неземным одухотворением. Если в этих словах и есть отклонения от правды, то только потому, что слова не в состоянии ее описать. Мы, например, не представляем себе ангелов крупными сильными созданиями с мужественной внешностью, а он был именно таким. Наши обычные понятия о бывалых, смелых мужчинах не вяжутся с безгрешным выражением глаз, застенчивой улыбкой, скромностью и безупречностью в поведении, а он был именно таким.

Море и военно-морские традиции, берущие свое начало еще в царском флоте, свято поддерживаемые на линкоре, отшлифовали еще больше то, что было в Юре хорошего, наполнив его

внутренним содержанием и благородством. Ведь линкоры призваны были быть законодателями флотской культуры, порядков и обычаев, хранителями классического морского устава. Матрос с линкора всегда легко узнавался, его выделяли опрятность, отличная выправка и особое благородство, особый лоск во всем. Здесь не только развивали интеллект, но и обогащали душу: днем линкоровцы занимались пушками, изучали новинки техники и вооружений, а в свободное время читали, играли на рояле или гитаре, пели и танцевали, играли в шахматы, много дискутировали. Линкор — это был образ одухотворенной жизни, школа воспитания аристократов духа нового типа, образцового для молодого и сильного народа. Можно только представить себе, как зажигались девичьи сердца при встречах с такими блестящими парнями, при общении с ними, при ближайшем знакомстве. Особенно при Юриной внешности!

И все же, и все же… Говоря откровенно, на нем лежала печать особой изысканности, граничащей с обреченностью, да только, видите ли, прочитать ее никто не мог. А знаки судьбы были красноречивыми: Юра никогда не смеялся громко, не куролесил, не делал глупостей, никого не обижал, ни в каком деле не стремился попасть в центр внимания — ему оставалась чужой суета толпы с ее примитивными целями, и он только снисходительно улыбался, стоя в стороне и наблюдая ее. Казалось, он уже тогда смотрел на рыскание людей издалека, как взрослый смотрит на детей.

Такой красоты и благородства могло с избытком хватить на всех женщин, и они надоедали Юрию своим вниманием, цеплялись, даже иногда и преследовали. Но это была не его стезя, не для того он пришел в этот мир, ох! — не для того…

В июне 1954 года, когда служить оставалось менее двух лет, Юра сказал Вере Сергеевне, которая, наконец, вернулась домой:

— Кажется, получится, как вы хотите. Будет у меня жена из Славгорода.

— Это кто?

— Потом, потом, — говорил он и улыбался счастливо.

— Кто там у Юры завелся? — спросила Вера Сергеевна у Зины, подружки его юности.

— А если не скажу, что тогда?

— Зинка! — прикрикнула старшая сестра. — Не балуйся.

— Пусть он сам тебе скажет.

Давить на Зину было делом зряшным — она уже была замужем и носила ребенка, готовилась к своим материнским заботам. Остальное ее мало волновало.

Вскоре Вера Сергеевна устроилась поваром в больницу, где всегда людно, всегда кипят страсти и разговоры. Там она легко узнала, за кем ухаживает Юра.

— Вы знаете, с кем ваш Юра отпуска проводит? — спросила как-то у Веры Сергеевны одна досужая сотрудница.

— С кем?

— С Нинкой Столпаковой!

Вера Сергеевна ахнула. Да ведь эта Нинка по рукам и ногам связана родительскими детьми, младшими братьями и сестрами! Правда, девушка хорошая, красивая, работящая, веселого нрава, серьезная и самостоятельная. Но, Боже мой, почему ее сын должен взять на себя этот груз? Нет, пусть лучше будет китобойная флотилия.

— Я тебя просила познакомить сына не с такой девушкой! — упрекала она Зину. — Ты так выполнила мое сестринское поручение?

— А Нина — порядочная девушка. Чего ты на нее взъелась? Успокойся, — спокойно сказала та.

Вера Сергеевна очень уговаривала сына отступиться от Нины, забыть ее, не писать. Говорят, что сначала она пыталась перехватывать письма сына к Нине, и это ей несколько раз удалось, а потом влюбленные разоблачили ее и некоторое время переписывались через Нининых подруг. Тогда Вера Сергеевна уже открыто просила почтальона не носить письма от сына на другие адреса. Бесполезно.

Нина и Юра переписывались часто. Иногда Юра присылал короткие открытки, сжатые, на две строки. Она, бывало, не успевала вовремя ответить, и тогда он сердился и писал каждый день. Но, рассказывает теперь Нина, встречи они ждали с одинаковым нетерпением.

— Юра подсказал мне вычеркивать дни в календаре, — вспоминает она. — У них на флоте все так делали, особенно перед демобилизацией. Вот и я начала так делать, причем это у меня была целая церемония. Приду с работы, управлюсь по дому, поработаю на огороде, уберу двор — потому что жильцы поочередно исполняли обязанности дворника — и перед сном вычеркиваю день. Календарь висел у меня над кроватью. А время, если счастливо жить, летит очень быстро, а если ждать кого-то, то долго-долго тянется.

* * *

В апреле 1955 года Юра снова приехал домой. До конца

службы оставалось меньше года. Он собирался использовать отпуск для подготовки к свадьбе, которую хотел справить сразу после демобилизации. Но надо было еще познакомить Нину со своей семьей, и он привел ее к бабушке, представил как свою невесту.

— А почему к бабушке, а не к матери? — спросила я у Нины, когда она рассказывала мне об этом.

— Юрин отец Алексей Васильевич был хорошим семьянином, и выстроил для семьи небольшую хату. Но же его не стало, а Вера Сергеевна долго отсутствовала и за хатой никто не присматривал. Когда случилось несчастье и Юрину мать посадили, то полностью осиротевших детей разобрали родственники: Юру забрали к себе Артемовы, а младших братьев — Ивановские. Хата же осталась стоять пустой, с забитыми окнами. Конечно, ее стены отсырели и осели, выкрашенные поверхности потрескались и обсыпались, забор перекосился, крыша просела и начала протекать. Хоть Вера Сергеевна, возвратившись домой в конце 1952 года, понемногу и приводить ее в порядок, но что она могла сделать своими силами, еще без денег? Словом, не к кому Юре было меня вести, кроме бабушки. Кстати, в тот отпуск он отремонтировал-таки хату. Своими руками все-все восстановил, поправил, покрасил. Да что там, после его отъезда хата стояла, как новенькая! Не знал, для кого готовит, — грустно сказала Нина.

— А для кого?

— Когда в 1964 году не стало самой Веры Сергеевны, в той хате, переехав в Славгород, поселились родители Алексея Васильевича — Юрины дедушка и бабушка Артемовы, воспитывавшие его.

— Наш сын эту хату строил, здесь нам и доживать, — говорил дед Василий.

— А теперь что с ней?

— Не знаю.

Вера Сергеевна так и не смирилась с выбором сына, но не показывала этого, приняла девушку с прохладой, но вежливо.

— Там видно будет, — сказала вместо благословения. — Торопиться рано, ему еще почти год служить, — показала глазами на Юру.

Юра засмеялся:

— Мама, какой год?

— Гуляйте пока что, — тверже отрезала Вера Сергеевна. — И не распускайтесь.

Мораль тогда была строгая, особенно что касалось незамужних девушек. Неосмотрительным поведением можно было легко испортить репутацию, и прощай счастье — тебя уже

никто всерьез не воспримет, никто в свою семью не возьмет. Да Нине излишне было на то намекать. Она себя блюла.

Юра тоже вел себя сдержанно, не звал ее каждый вечер на свидание, понимая, что она устает на работе, недосыпает. Да и сам от звезды до звезды толокся с ремонтом хаты. Виделись только в дни, когда в клубе были танцы, — в среду, субботу и воскресенье. Танцевали вволю, а потом гуляли под звездами.

Перед отъездом Юра отважился поцеловать Нину, ведь теперь она считалась его невестой. Первый поцелуй… Будто мир стал пьяным, потерял равновесие. Сердца влюбленных бились так, что, казалось, выскакивали из груди и мячиками прыгали вокруг них.

После этого Юриного отпуска они расставались особенно тяжело, и не скрывали своего настроения. Нина долго стояла на перроне, смотрела вслед поезду, и сердце ее сжимало что-то такое, чему и названия не было, что-то умопомрачительно сладкое, окрашенное болью ожидания.

За углом вокзала ее ждали подруги.

— Не грусти, время пролетит быстро, — успокаивала Алла Пиклун.

В первом письме после отъезда Юра писал: «Я не представляю жизни без тебя. Может, приедешь в Севастополь? Найдем здесь тебе работу, жилье». Нина отвечала: «На кого же я покину братьев-сестер? Ты подумал? Пусть они еще хоть немного подрастут».

Юра скучал по ней. Он, как и все моряки, носил с собой фото любимой девушки. В свободное время смотрел на Нину, мысленно разговаривал с нею, старался восстановить в памяти ее смех и веселый, немного хриплый, голос. Как он его волновал! Какая она волшебная! Гладко зачесанные волосы, заплетенные в две косы, открывали выпуклый лоб, широко расставленные глаза смотрели на мир задорно и властно. Он помнил свою любимую веселой, но веселость та была не легкомысленной, а шла от жизни, протекающей безгрешно и просто.

За четыре года морской службы Юра возмужал, стал шире в плечах. Лицо, закаленное морем и солнцем, стало темнее, на нем прописались едва заметные морщинки, белые от того, что их не покрасил загар. Оно приобрело задумчивость, серьезность. Но это уже была не юношеская задумчивость, не мечтательная, а именно такая, что говорила — обманчивые мечты оставляют его и он начинает сознательно обдумывать будущее.

Юноша полюбил Севастополь, возможно потому, что чувствовал себя особенным человеком, ведь моряков здесь все уважали. Он хорошо выучил город и знал, где можно быстро сделать покупки, где погулять с ребенком, где посмотреть новый

фильм. Юра полюбил его гордые традиции, о которых на каждом шагу напоминали памятники. Ему нравились виды, где море соревновалось с горами, нравились абрисы могучих кораблей на далеких рейдах, портовая суета, атмосфера радостных встреч или упрямых сладких ожиданий. Он здесь возмужал, впитал в себя дух значительных и величавых дел. Но и сам отдал ему частицу себя, свои молодые годы. Разве этого мало?

Вот и хватит, теперь от моря надо отвыкать, так как оно разъединяет его с Ниной, ведь Нина сюда никогда не приедет. Пришли мысли о том, что суши так мало, а моря так много. Так почему он должны выбирать то, чего есть много? Судьба подарила ему мир степей, где грелся под солнцем плодородный чернозем. Такая земля не каждому дается.

Разительная непохожесть моря и степи сначала лишь бросалась в глаза, а теперь море начало казаться ему чужим, враждебным человеку, недружелюбным. Мягкость волн, льстивый их шепот в затишье, игривые качания гребней с белой пеной на верхушках, блестки солнца на разогретой поверхности и безграничная голубизна — это внешняя сторона моря, это его парадное лицо, не настоящее. Море — двуликое и скрытное. Его неверная подвижность не идет ни в какое сравнение со спокойными, уравновешенными, надежными степями. Нет, надо ехать домой, — убеждал себя Юра. Но сомнения оставались, соблазняла китобойная флотилия «Слава», которую он иногда видел в Севастопольском порту.

Теперь Юра и Нина переписывались оживленнее, чем в предыдущие годы. Тема была одна: как им лучше организовать свою жизнь, чтобы скорее соединиться навсегда. Это, собственно, был любовный шепот; звучание влюбленности, в котором преобладали настроения, а не настоящие намерения, еще не вызревшие до конца, не отстоявшиеся; это было воркование, в которое они выливали свою тоску и печаль от разлуки. В письмах почти не было откровенных признаний и нежности, высказывания чувств, хоть их накал читался между строк. В этих планах на будущее они ощущали прикосновения рук. Им казалось, что они находятся рядом, только не видят друг друга. Каждая мелочь того, как они заживут, обговоренная на сто ладов, утоляла жажду встреч, хоть немного исцеляла их от боли разъединения в пространстве.

Нина убедилась, что Юра в самом деле любит ее, и исподволь пришла в состояние уравновешенного покоя, уверенности в нем. Он снился ей, и она старалась надышаться теми снами на дни и на недели, не забывала его лицо, улыбку, свет глаз. Настоящим праздником для Нины было видеться с Юриной тетей Зиной,

которую сначала она приняла за его девушку. Они относились друг к другу доброжелательно, и при встречах, бывало, пересказывали свои сны или доверчиво цитировали Юрины письма. После таких встреч у Нины оставалось на душе приятное впечатление, будто она приобщилась к Юриным дням, скрытым за занавесом лет, к тем временам, когда он жил, не зная ее. И она впитывала в себя, пропускала через свое сердце его детство, начало юности. Появлялось ощущение, что они с самого появления на свет всегда были слиты воедино, и от этого теплые волны омывали сердце.

* * *

Время шло медленно. В конце концов в сентябре 1955 года Юра опять приехал в отпуск, в последний раз. И впервые привез подарки маме, Зине, ее новорожденной дочке Ане, бабушке Марии Иосифовне и Нине, а также деньги, скопленные на свадьбу.

— Давай мотнемся в Днепропетровск, купим обручальные кольца, свадебное платье тебе, — предложил он Нине. — Да и мне надо приодеться, за пять лет мода изменилась.

— Нет, — ответила Нина. — Себе, если хочешь, езжай и покупай обновки, а с моими нарядами позже разберемся.

— Почему?

— Успеем еще! Сколько того дела — поехать и купить?

— Без тебя не поеду.

— Значит, и тебя приоденем позже.

Неотложных дел у них было множество. Хотелось подумать, где они поселятся после свадьбы, а это зависело от того, куда Юра устроится на работу. Кроме того, хотелось помечтать о том, что они приобретут для ведения общего хозяйства, как будут отдыхать, к кому ходить в гости. Нина тоже накопила денег, приготовила приданое: одеяло, постельное белье, полотенца, ночные рубашки, домашние халаты. Справила кое-что из одежды и обуви: демисезонное пальто, фетровую шляпку, цветастую теплую шаль для зимы, румынки на меху.

— Первое время поживем у моей мамы, я месяц-другой отдохну и поеду устраиваться на работу, — планировал Юра.

— Не пойду к вам! У нас хоть и тесно, но у меня будет отдельная комната, там и поселимся, — возражала девушка.

— Где же у тебя возьмется отдельная комната? — спрашивал он и целовал ее, не ожидая ответа, видно, что был согласен.

— Отец заберет ребят в свою комнату, это же ненадолго.

— Не надолго-о-о… — Юра снова целовал ее, стыдливо мял девичью грудь.

Почти каждый вечер они заходили к Нине, чаевничали с отцом, говорили о том, о сем. Прокоп Иванович и Юра знакомились ближе и все больше и больше находили общего во взглядах на жизнь. Всегда молчаливый и хмурый Нинин отец, с приходом Юры, человека широких горизонтов, оживлялся, заводил невинную мужскую болтовню. Да и Юра тянулся к будущему тестю, радовался, что этот сильный мужчина становился для него, выросшего без отца, родным человеком.

Но надо было ехать и дослуживать последние дни.

— Не буду писать до самой демобилизации, — сказал Юра. — Здесь осталось не больше двух месяцев. Теперь они пролетят быстро.

— И я не буду писать, — пообещала Нина. — Буду ждать тебя.

Почему Юра так захотел, что это была за странная прихоть? Кто теперь скажет?

Но слова своего Юра не сдержал. Месяца через полтора пришла от него бандероль, тоненькая и легкая. Нина с тревожным сердцебиением разорвала плотный крафт и вынула портрет Юры в полный рост. Парень был сфотографирован в черной летней форме. Лежало в пакете и письмо, короткое, сухое: «Сегодня ночью мне приснилась твоя мама, хоть я ее никогда не видел. Будто сидит она в глубокой яме, а я пришел к ней и сел рядом. Потом захотел вылезти оттуда, а у меня не вышло. С тем и проснулся. Высылаю тебе свой портрет. Вдруг случится непоправимое, то запомни меня таким. Не сердись, если что-то было не так. Обнимаю. Твой Юрий». Внизу стояла дата — 19 октября 1955 года.

У Нины задрожали руки. Не помня себя, побежала к Вере Сергеевне.

— Вы ничего от Юры не получали? — спросила от порога.

— Нет, он же обещал не писать до самого приезда. А что?

— Ничего, — Нина овладела собой и не стала беспокоить женщину. — Сон мне странный был. Но это, конечно, ерунда. Куда ночь, туда и сон.

Теми словами, казалось, и себя успокоила. Но дома десятки раз перечитывала написанное, старалась что-то уловить между строк. Может, их отправляют на опасные учения, а он не может открыто о том написать? Тревога не давала Нине покоя несколько дней, а потом ее веселый характер победил и снова восстановилось оптимистичное настроение.

Перед октябрьскими праздниками появился приказ министра

Вооруженных Сил СССР об освобождении в запас моряков осеннего призыва 1950 года. По всем прикидкам выходило, что до конца ноября Юра непременно должен приехать домой. Но ноябрь подходил к концу, а он не появлялся. Нину охватило предчувствие беды. Она снова забеспокоилась, не знала, что делать, куда идти, где искать ответы, куда себя деть. А потом решила написать Юре письмо. Вот глупая, почему сразу этого не сделала? Что писала в нем, теперь не помнит. Знает только, что на конверте, внизу под адресом, сделала приписку: «Если адресата нет, передайте письмо командиру».

В начале декабря к ней пришла Вера Сергеевна, впервые переступила порог ее дома.

— Нина, дочка, ты что-то скрываешь от меня. Что с Юрой?

— Ничего не знаю, так же, как и вы.

— А что за сон тебе был? О чем?

Нина задумалась, прикидывая, что сказать, чтобы и не соврать и не насторожить женщину.

— Снилось на долгую дорогу ему. Может, думаю, в морской поход на учения они пошли, — говорила и сама не знала, где здесь выдумка, а где успокаивающее предположение. — Я письмо ему написала, жду, что отзовется.

— Ты же мне тогда скажешь! Заходи иногда, а то держишься словно мы чужие, — попросила в конце.

— Да, зайду обязательно.

А через неделю в ее окно постучали две черные от горя женщины — Вера Сергеевна и Зина.

— Ой, выйди же, выйди! Чего ты там сидишь?! Нашего Юрочки больше нет… — кричала Вера Сергеевна, простоволосая, в сапогах на босу ногу.

— Вера, Вера, что же с ним случилось? Что случилось… — приговаривала Зина.

Сорокачетырехлетняя мать и двадцативосьмилетняя тетя плакали и заламывали руки в беспомощности, в страшном старании вернуть назад тот день, когда их дорогой Юра был рядом с ними. Их вопли и плач навеки зависли в небе над Славгородом, и когда идут дожди, то с каплями падают на землю и их не вылитые до конца слезы.

А Нина не плакала — будто осиновый кол воткнули ей в грудь, оцепенела душей, всем естеством женским на долгих-долгих десять лет.

Раздел 3. НЕПТУНУ НА АЛТАРЬ

Часть 1. Ночной кошмар

Правда о трагедии с линкором «Новороссийск» лежит глубоко в толще времени, скрытая — даже старательно замаскированная! — большой политикой. И поэтому она пробивается к людям вкрадчиво и долго. Наверное, надо хоть несколькими словами сказать, как развивалось то, что уже стало видимым, зримым, заметным глазу с дистанции лет.

— Вблизи Севастопольской бухты странные дела замечались еще весной 1955 года, — рассказывает Николай Николаевич Сидоренко, как мы помним, тоже служивший в то время в Севастополе на военном корабле. — Как-то мы в пору, когда еще принимали из капремонта свой крейсер «Молотов», вышли в море без сопровождающих эсминцев — незащищенные и обезоруженные. Далековато отдалились от Севастополя, и вдруг наши радисты заметили показавшиеся из моря перископы субмарины. Кто такие? Чьи? Радисты моментально послали позывной, а в ответ ни гу-гу. Они еще раз послали и еще раз. Молчат. Эге, видим, что-то не то.

Рассказывая это, Николай Николаевич не просто нервничал, а переживал те мгновения уже в свете случившегося, уже со знанием истины — у него дрожали губы и текли слезы.

— Мы отправили радиограмму в штаб. Из штаба нам сообщили, — продолжал он, — что советских субмарин в той акватории моря быть не должно и приказали немедленно возвращаться на базу.

— Было страшно? — спрашиваю. — Ведь вы ощутили близкое присутствие врага.

— Да, было страшно. И врага мы ощутили конкретно. Хотелось броситься в воду и во весь дух плыть к берегу самостоятельно. Казалось, что так надежнее, вроде так больше шансов уцелеть, — он немного поколебался и дополнил, чтобы не показаться человеком не храбрым: — На море, как и в воздухе, любую угрозу переживаешь острее, чем на земле.

— Ну да, на земле выжить-то легче, а там — чужие стихии. А дальше как разворачивались события?

— Навстречу нам вышли сторожевые охранники и вылетел самолет. Они сопроводили нас в безопасное место, а дальше мы сами вернулись домой. Вообще, — продолжает вспоминать мой рассказчик, — в горячем 1955 году вражеские разведчики почти как дома курсировали в наших водах, сея угрозу, чувство давления, грубой силы. До определенной поры это воспринималось как демонстрация военного превосходства, игра

на нервах, возможно, провокация, но не как намерения. Так продолжалось всю весну, лето и всю осень.

Почти то же самое вспоминает Иван Петрович Прохоров, водолаз, принимавший участие в изучении поврежденного линкора «Новороссийск» и в подготовке экспертного вывода о причине взрыва: «Нам было известно, что за неделю до катастрофы линкор „Новороссийск“ стоял в Донузлаве, на северо-западе Крымского полуострова, и оставил свою стоянку после того, как летчики доложили командованию, что на небольшой глубине прослеживается субмарина. На запрос командования оперативный дежурный по флоту доложил, что вблизи Донузлава наших подводных лодок не должно быть. Тогда провели еще один поиск субмарины, который ничего не выявил. Решили, что летчикам примерещилось…»

Есть и другие опубликованные свидетельства, например матроса Виктора Ивановича Салтыкова — бывшего артиллериста зенитной батареи линкора «Новороссийск»: «В октябре 1955 года я дослуживал четвертый год и, в соответствии с новым приказом о четырехлетней службе на кораблях ВМФ, готовился к демобилизации. Уже считал последние дни, поэтому каждый из них помню отдельно. И вот за неделю до взрыва линкор стоял в Донузлавском порту. Вдруг в три часа ночи всю эскадру подняли по тревоге и срочно перевели в севастопольскую бухту. На командирском мостике, в офицерской кают-компании и в радиорубках говорили, что в Черном море проявилась неизвестная субмарина. Поэтому, дескать, нас и перевели под надежную защиту».

Этот рассказ бывалого матроса, которому повезло остаться живым, говорит о важнейших корабельных слухах (новостях) на флагмане Черноморского флота в двадцатых числах октября 1955 года. Такие разговоры не могли не навевать тревогу, которая усиливалась убеждением, что из всех объектов Черноморского флота самое большое любопытство врага привлекает флагман, т. е. линкор «Новороссийск». Убеждения базировалось на прецедентах, имевших место в 1954 году. Тогда над севастопольской бухтой появился иностранный самолет-разведчик, и команду «Новороссийска» подняли по боевой тревоге. На линкоре открыли огонь. Артиллеристы стреляли в самый зенит, так что осколки падали прямо на палубу, где собралась вся эскадра. Даже ведущего, правого замкового, в плечо поранило. Но самолету удалось скрыться, так как он шел выше того уровня стрельбы, который имели на линкоре. Правда, этого разведчика все равно сбили, только уже над сушей.

Итак, за линкором «Новороссийск» охотились, долго и

тщательно изучали его стоянки, маршруты, дислокации.

* * *

И вот настала очередная пятница.

После ужина на корабле начались обычные дела: увольнение части экипажа на берег, развод наряда, баня и стирка. После удачных стрельб члены экипажа щетками драили на палубе (деревянной была лишь корма) свои робы и форменки. Стирали на совесть, то есть по-настоящему. А то ведь как бывало? Среди моряков встречались удальцы-молодцы, которые закрашивали грязные места на белых воротничках и белых брюках зубным порошком. Но ведь от линкоровца требовали, чтобы он имел безупречный вид! И за это шла борьба. Демобилизовавшиеся «новороссийцы» рассказывали, что помощник командира Сербулов, умел нехитрым способом выводить таких трюкачей на чистую воду. Перед увольнением он выстраивал тех, кто сходил на берег и был одет по форме «раз» — белый низ, белый верх, — в шеренгу, проходил вдоль нее, проводя короткой цепью по штанам. От кого поднималась белая пыль, того отправлял стираться…

Все шло штатным порядком. Часть старшин и матросов сошла на берег, съехало также большинство офицеров и лиц сверхсрочной службы. Кое-кому выпал «сквознячок» — побыть дома два дня и вернуться на корабль аж утром понедельника. Обязанности командира корабля должен был выполнять его старший помощник капитан 2-го ранга Григорий Аркадьевич Хуршудов, но он тоже сошел на берег, передав командование капитану 2-го ранга Зосиму Григорьевичу Сербулову, помощнику командира.

В полночь вернулись баркасы с матросами, находившимися на берегу в увольнительной. Вернулись все без замечаний.

Но на линкоре имела место неординарная ситуация: сутками раньше сюда прибыло двести человек пополнения, взятого из солдат Киевского военного округа. Во-первых, это было в два раза больше прежней нормы, что уже нагружало экипаж психологически — не так-то просто вписать в налаженный ритм работы так много новых исполнителей, еще необученных и неотесанных. Во-вторых, всеми своими навыками и помыслами это были люди глубоко сухопутные, попавшие на море неожиданно, что называется, как кур в ощип. И от резкой перемены своей судьбы несколько оторопелые и заторможенные.

Почему так получилось? Да потому что в этом году в два раза

больше прежнего ушло в запас матросов и старшин — в силу закона о сокращении срока службы на флоте с пяти до четырех лет. Вот их и заменили соответственно увеличенным пополнением. А так как такое количество людей добрать из призыва не получалось по естественным причинам, то их взяли из пехоты. Бедные, бедные мальчики, разве они могли знать, что идут на алтарь Нептуну — в качестве безвинной жертвы. Впрочем, жертвы всегда безвинны.

Работа по приему увеличенного количества новичков нагрузила все обслуживающие службы экипажа, в частности интендантскую — надо было завести на линкор в два раза больше обмундирования и обуви среднестатистических размеров. Но с этим справились неудовлетворительно: новичков успели переодеть в матросскую рабочую одежду, но многих оставили в армейских сапогах. На ночлег их разместили в одном из носовых помещений линкора.

Новоявленные моряки, понятное дело, корабля не знали и, попав в обстоятельства крушения, оказались в западне, из которой даже видавшие виды мужчины выход находили не сразу.

В последний для линкора «Новороссийск» день город черноморской славы жил насыщенно и напряженно. Здесь отмечали 100-летие первой героической обороны Севастополя в 1854–1855 годах. На этот праздник приехало немало высокопоставленных гостей, в частности, Никита Сергеевич Хрущев, как раз отдыхавший под Ялтой, и Климент Ефремович Ворошилов. Продолжались также подготовительные работы к празднованию 38-й годовщины Октября.

После перехода на борт «Новороссийска» оперативного дежурного штаба эскадры вместе с обслуживающим персоналом, на его грот-мачте включили специальный сигнал — «флагманский огонь». Под вечер на рейде в севастопольской бухте находился линкор «Севастополь» и крейсеры «Молотов», «Фрунзе», «Михаил Кутузов», «Адмирал Нахимов», «Керчь», «Куйбышев», а также свыше десяти эсминцев.

* * *

В 1 час 30 минут вахтенный старшина на юте «Молотова» пробил в рынду три склянки. Едва стих звук последнего удара, как рядом глухо ухнул взрыв, а вслед за ним возник сильный толчок, и крейсер закачался на высоких волнах. Некоторые матросы, возбужденные гулянием по праздничному Севастополю, еще находились на палубе: прогуливались, переговаривались и

старались успокоить свои впечатления. Ставшие невольными свидетелями, они с правого борта флагмана увидели внезапно выметнувшиеся языки пламени. Скоро, однако, пламя погасло, зато черный столб дыма поднялся выше фок-мачты и там образовал шапку в виде гриба. Крейсер «Молотов» стоял рядом с «Новороссийском» со стороны носа, поэтому с близкого расстояния все хорошо просматривалось. От взрыва многие моряки проснулись и тоже выбежали на палубу. Лунная ночь заливала землю просеянным светом — небо было затянуто жиденькой облачностью, словно марлей. Ярко светили прожекторы на соседних крейсерах. Настороженная тишина ловила звуки потревоженной жизни и наполняла пространство тревогой, от чего ощущение страшного несчастья стало почти материальным и передалось всем, кто не спал.

И все же трудно было предположить, что звук, больше похожий на мучительный вскрик моря, означал взрыв заряда невероятной силы, произошедший под килем флагманского корабля. Он насквозь прошил восемь его палуб и в одно мгновение остановил битье двухсот молодых сердец — все новички погибли. Останавливая в этом месте повествование для минуты молчания, я думаю об их судьбе. Если она столь невероятно мало отпустила им жизни, то хоть в смерти была милостива — многие парни не поняли, что произошло и что они умирают. Чего не скажешь о ста тридцати моряках, выброшенных за борт, получивших тяжелые ранения и вынужденных в беспомощном состоянии сражаться с морской стихией.

Закованный в броню корпус флагмана вздрогнул, и сквозь огромную пробоину, образовавшуюся вблизи носа, в его корпус с грохотом и клекотом хлынула холодная вода, перемешанная с донным осадком и человеческой кровью.

На всех палубах смертельно раненного исполина сразу же исчезло освещение, и он погрузился во тьму, оставшись, естественно, без сигнализации и радиотрансляции. Поскольку звук взрыва прошел от носовой части, дежурная служба и проснувшиеся моряки бросились на бак. В свете прожекторов, направленных на линкор с соседних кораблей, они увидели огромную многометровую брешь, зияющую посредине полубака, перед первой башней главного калибра. Ее вывернутые концы загнулись наружу, что указывало на то, что взрыв шел снизу, словно изнутри корабля. По палубе расползлись огромные трещины, доходящие до бортов. В воздухе стоял сильный запах пороховой гари. Окружающее пространство наполнилось стонами и криками. Из заливаемых водой помещений, а также из-за борта слышались голоса пострадавших, умоляющие о помощи. Рядом с

брешью и в ее центре белели фрагменты тел, выброшенных из носовых кубриков, откуда, разламывая внутренность корабля, прошел огненный смерч.

И между седыми вершинами гор, окружающими город, заметалось сошедшее с ума эхо мгновенно поседевшей, увядшей жизни. Сдавленно застонал на гальке испуганный прибой и резко выгнулся крутой волной судорог. Желтые цукаты севастопольских фонарей, тускнеющие далеко в ночной мгле, беспомощны были что-либо осветить. Ни о чем не провещало небо, ничего не говорило окружающее пространство, занемела вода, еще не знающая, какое горькое молчание впитало в себя ее говорливое тело, какую тайну поглотило море и какую боль. Мгла заволокла, затянула… черная мгла закоптила белый свет, подлая мгла предательств и умолчаний.

Страшно помыслить, какими могли быть жертвы, если бы взрыв произошел под погребами первой артиллерийской башни главного калибра. Ведь там хранились десятки тяжелейших в ВМФ СССР — до 525 кг — крупнокалиберных зарядов и множество пороховых зарядов для них (160 кг для одного выстрела). К этим погребам оставалось рукой подать. А рядом находились такие же погреба второй башни главного калибра, за ними — артиллерийские погреба с боезапасом для противоминного и зенитного калибров, а в корме — еще погреба с боекомплектом для третьей и четвертой башни главного калибра. Всего на корабле было свыше дюжины артиллерийских погребов, в каждом из которых хранился не один десяток тон боезапаса разного рода.

К счастью, взрыв не зацепил ни одного из них, а находящиеся там боеприпасы не сдетонировали. Если бы такое случилось, линкор взлетов бы в воздух вместе со всем экипажем, превратившись в щепки. Тогда потерь было бы в десятки раз больше, так как рядом с линкором на бочках стояли другие большие корабли эскадры — пять крейсеров с боекомплектом на борту. Наверное, на то и делался вражеский расчет, но иногда доброе провидение вмешивается-таки в ход событий, спровоцированных дьяволом. Хотя о каком добром провидении можно говорить при таком количестве жертв…

Паники на взорванном линкоре не было, был миг короткой растерянности вахтенного офицера, после которого здесь сначала объявили аварийную, а затем, по приказу помощника командира корабля капитана 2-го ранга Сербулова, и боевую тревогу. Так как не было электричества, тревогу пришлось объявлять с помощью рынды, боцманских дудок и голосами посыльных. Экипаж довольно быстро занял места, предписанные боевым и аварийным

расписанием. А через мгновение здесь задраили водонепроницаемые корабельные перегородки, люки и горловины. Некоторые, увидев разбитый нос корабля, подумали, что началась война и на корабль напали с воздуха, что в него попала бомба. Поэтому прозвучали команды усилить наблюдение за воздухом и водой, оглянуться в помещениях, в артпогребах и отсеках. К зенитным пушкам подали боевые патроны. Но, дело, как скоро разобрались, было в другом…

Прошло время, но не проходит боль и не забывается ужас, испытанный теми, кто находился на агонизирующем линкоре, кто костями и сердцем почувствовал тот взрыв, пережил гибель своих товарищей, потерю боевой техники. Их память не покрылась пеплом забвения, она остается такой же острой и теперь, как была тогда. Слушая их, я представляю, что переживал Юрий Артемов. Он все рассказал бы нам сам, если бы ему удалось уцелеть. А возможность у него была!

Рассказов о гибели линкора «Новороссийск» хватает. И когда слушаешь их или читаешь, то диву даешься, что в стуже моря, в мороке ночи, в мазуте и человеческой крови, когда на глазах гибли сотни молодых ребят, живые замечали все, каждую мелочь. Оно врезалось им в память помимо воли. Ведь только миг отделял каждого из них от смерти, один миг. Вот он и не дает покоя их душам: все кажется, что можно было спасти остальных пострадавших, находящихся тогда рядом, что вот же они — протяни руку и вытяни их из небытия, перетяни на свою сторону, на сторону жизни.

«Новороссийцев» и линкор спасали все, находящиеся тогда в севастопольской бухте.

— На шесть часов утра 29-го октября 1955 года у нас был назначен выход в море, — делится Николай Николаевич Сидоренко собственными воспоминаниями об этих событиях. — Перед столь ответственной работой мы должны были хорошо отдохнуть. Вполне понятно, ночью, в момент взрыва, я находился в каюте, спал. Вдруг что-то толкнуло крейсер так, что меня подкинуло на койке. И тут же послышался приглушенный хлопок. Крейсер «Молотов» стоял в Северной бухте на бочке № 3, это на расстоянии двести пятидесяти метров от флагмана, понятно, что взрыв ощутимо сказался на нем. Я проснулся, ловя себя на надежде, что мне приснился дурной сон. Однако помимо надежды в голове зароились недавние картины, припомнился случай, когда в марте нас преследовала вражеская субмарина… И я понял, что враги уничтожают наш флот. Но вот прошло не больше двух-трех минут, и прозвучала команда: «Баркас к правому трапу! Кормовой аварийной партии выстроиться на

юте!». Я облегченно вздохнул. Верите? Ведь что-то делать — лучше, чем находиться в неведении. Все команды мы выполняли чрезвычайно быстро, четко. В каждом из нас ощущалась внутренняя напряженность, усиленная страшной догадкой, хоть мы ни о чем не говорили. На юте уже был наш непосредственный руководитель — командир дивизиона живучести Виталий Говоров. В первой аварийной партии нас было 20 человек, и мы везли с собой санитарную группу. Когда мы выстроились, командир крейсера капитан 1-го ранга Каденко поставил задачу: «Отправиться на линкор „Новороссийск“ и оказать помощь». Получилось, что уже через десять минут после взрыва мы вышли на помощь флагману. А после нас с «Молотова» вышла еще одна аварийная партия, чуть поменьше.

* * *

По боевой тревоге Николай Николаевич Сидоренко был записан в состав кормовой аварийной партии. И вот она, боевая тревога, прозвучала на «Молотове». Не учебная, а настоящая. Это казалось диким и невероятным. Если бы не звук взрыва, который услышали все, не ощутимое волнение моря, ни за что не поверил бы, что это происходит в действительности. Но это не было сном, это было страшной явью. Раздумывать было некогда, на крейсере начали разбирать спасательные средства, медицинские группы готовились к отправке по оказанию помощи пострадавшему линкору.

— Оказавшись на воде, мы увидели, что возле борта флагмана уже находится пожарный катер «ПЖК-37» и спасательное судно «Карабах». Позже подошло еще одно спасательное судно, три буксира вспомогательного флота и четыре водолазных бота, — качая низко опущенной головой, говорил Николай Николаевич.

— А что лично вам пришлось делать? — спросила я как можно тише, чтобы не потревожить его состояние, похожее на мысленное пребывание в той ночи, в том месте.

— Меня и Михаила Богданова, еще одного матроса из отделения электриков, которым я руководил, командир дивизиона живучести Виталий Говоров назначил переправлять на берег раненых. «Высадите нас на борт флагмана, а сами спасайте людей», — приказал он, профессиональной интуицией определив ситуацию. Мы так и сделали.

— Так вам пришлось все время возить пострадавших? — переспросила я.

— Именно так. Ставя перед нами такую задачу, Говоров, конечно, отступал от правил. Видимо, пострадавших, находящихся на линкоре и в воде, должны были подбирать другие спасатели. Но то ли они не успевали, то ли задерживались… Не знаю. А между тем вокруг линкора поверхность моря кипела от бессчетного количества беспомощных и оглушенных взрывом людей, барахтающихся и зовущих на помощь. Мы с этим столкнулись сразу же, когда шли к линкору! Мы не смогли пройти мимо них. Это было невозможно! Каждый из нас понимал, что людям в воде грозит неминуемая смерть, ведь они находились во враждебной стихии, с которой не могли сражаться. Они нуждались в немедленной помощи. Кое-кто плыл в сторону суши своими силами, но, забегая наперед скажу, что не все доплывали — сказывались травмы. Вот Говоров и принял такое решение, чтобы мы им помогали. Подбирать и вылавливать людей из воды мы начали сразу как отошли от своего крейсера и увидели эту картину. А когда высадили свою аварийную группу на флагман, то вдвоем с Мишкой Богдановым повезли выловленных людей на сушу, подбирая по дороге новых пострадавших. А на берегу уже работали врачи из военно-морского госпиталя, тоже поднятые по боевой тревоге. Ой, что там творилось! — Николай Николаевич скомкал губы жесткой ладонью и отвернулся, скрывая слезу.

Аварийщики кружили вокруг подорванного корабля, маневрировали среди волн и обломков, поднимались на борт «Новороссийска» и, преодолевая неожиданные препятствия, проникали в затопленные каюты, которые были битком набиты утопленниками, убитыми и ранеными взрывом людьми. Сразу стало понятно, что количество жертв переваливает далеко за сотню.

Тем временем аварийные бригады с крейсера «Молотов», прибывшие на линкор, вели себя героически. Наверное, это были единственные люди на терпящем бедствие флагмане, которые с первых минут не растерялись и действовали четко и слаженно. Хотя увиденные ими картины потрясали. От них просто можно было сойти с ума. Например, они увидели молодого матроса, придавленного восьмисантиметровой вывернутой броней. Матрос еще казался живым, вяло двигался, старался своими силами снять захват загнутого на него металла. Кто-то из спасателей попробовал помочь ему освободиться, а в его руках… осталась только верхняя часть пополам разрезанного тела. Просто тело продолжало двигаться в предсмертных конвульсиях.

Разбираться, кто из пострадавших на «Новороссийске» жив, а кто нет, времени не оставалось, поэтому всех подряд передавали

на баркасы, а те везли их на берег и передавали военным медикам.

— Теперь легко говорить: перевозили, передавали… А тогда некоторые умирали по дороге, уже на баркасах — на наших руках, на наших глазах. Это не забывается! Я чувствовал себя не лучше мертвеца, так как умирал не раз и не два, а вместе с каждым из них, — глухим голосом рассказывал участник тех событий с крейсера «Молотов». — Беспощадность смерти и молодость тех, кого она забирала, убивали еще одним взрывом, вспышкой гнева и желанием мести.

От большого количества трупов, поднятых на поверхность из внутренних помещений корабля, на палубе «Новороссийска» скоро не стало свободного места. В стороне сгрудились легкораненые, которые могли самостоятельно держаться на ногах. Судовые медики оказывали им первую помощь, и они ждали отправки на берег.

— Не побывав на борту линкора, я не знал о пробоине, о том, что флагман обречен, что в той или иной мере пострадал весь экипаж, насчитывающий свыше полторы тысячи людей — молодых, самых лучших, — рассказывал дальше Николай Николаевич. — Поэтому не совсем представлял масштабы бедствия. Только видел, что произошло что-то страшное, бессмысленное, непоправимое. И лишь на усеянном пострадавшими берегу, которых было потрясающе много, которых привозили не только мы, я воочию убедился в грандиозности катастрофы, осознал ее размеры, понял, что произошла национальная трагедия.

Погода стояла тихая и тепла, волны чуть слышно плескались, били о борта судов и баркасов. Элегически светила луна. Но воздух над морем был отравлен страданиями моряков, находящихся в шоковом состоянии и еще не осознавших, что с ними случилось. Ведь многие спали, когда произошел взрыв.

Вода между судами в зоне катастрофы продолжала бурлить телами, количество которых, казалось, не уменьшалось. Николай Николаевич сдавал медикам одних раненых и ехал за другими. Так и курсировал от «Новороссийска» до берега и обратно. Иногда спасал тех, кто не мог уже сам забраться на баркас, выхватывал их из воды с помощью багров или бросал им индивидуальные плавсредства.

А вот что рассказывает сам Виталий Говоров, командир дивизиона живучести с крейсера «Молотов», о работе той части аварийной бригады, что высадилась на линкоре: «На борту „Новороссийска“ мы оказались уже через десять минут после взрыва. Линкор стоял с малым дифферентом на нос, с небольшим

креном на правый борт. Освещения в носовой части не было. Я отчитался вахтенному офицеру о прибытии и направился в район взрыва.

Увиденное там ошеломляло: развернувшиеся лепестками листы брони горой поднимались над палубой, а на их рваных остриях висели искромсанные человеческие останки. Ноги увязали в толще осевшего тут донного ила, окрашенного кровью. Не встретив никого из командования линкора, я пошел искать пост энергетики живучести. По дороге в одном из помещений столкнулся с матросами аварийных постов. Их было около пятнадцати человек. Они ждали команд, которые все еще к ним не дошли. Ужас! Я оказался единственным офицером в этой части корабля, поэтому принял командование на себя. Телефонная связь не работала, в помещении было темно… Сначала я приказал крепить носовую переборку и палубные люки, так как через них уже просачивалась вода. Затем часть матросов отправил закрывать иллюминаторы. Я никого из них не знал, равно как не знал и строения этого корабля, но чудесно понимал, что надо бороться. Я рассчитывал на выучку матросов и не ошибся.

Аварийщики были хорошо подготовлены, знали свое дело. А вода все прибывала. Крен сместился на левый борт, дифферент увеличился. Через палубные люки с каких-то помещений, куда мы добраться не могли, помещение заливала вода. Без водолазных аппаратов матросы ныряли в люк и старались изнутри закрыть щели. Только когда вода дошла до подбородка моих ста восьмидесяти шести сантиметров роста, я дал команду покинуть помещение. Все сильнее ощущался дефицит аварийных материалов и инструментов. Для того чтобы задраивать щели, в дело пошли столовые ложки и вилки, вместо пакли рвали простыни, вместо молотков использовали собственные кулаки, обмотанные полотенцами».

* * *

А линкор тем временем увеличивал крен на левый борт. На верхней палубе кормы стояло девятьсот человек экипажа, построенных в шеренги, ждущих команды. И никто из них до последней минуты не сделал ни наименьшей попытки спастись самостоятельно — моряки верили своему командованию, что оно все сделает для их спасения. Уже аварийным бригадам с других кораблей поступила команда не приближаться к «Новороссийску», так как он будет тонуть, а этим обреченным

ничего не сказали. О них не позаботились.

«А как же эти люди? — думал Николай Николаевич, шныряя на своем баркасике вблизи раненого гиганта, вглядываясь в него, резко освещенного прожекторами. — Почему они не прыгают за борт? Ведь это шанс!! Неужели их не предупредили?»

Говорят, что какие-то аналогичные приказы поступали и командованию линкора. Мол, не зря ведь матросы, старшины и офицеры через узкие люки и горловины внутренних помещений, палуб, надстроек, башен начали выходить наверх и строиться на верхней палубе, на юте, рядом с теми, кто находился там уже давно. Кто знает… Видно, поздно они поступили, те приказы…

Группы моряков быстро высаживались на суда, которые, не считаясь с предостережениями, приближались к «Новороссийску». Но вот на флагмане погас «флагманский огонь» — это означало, что оперативный дежурный штаба эскадры покинул тонущий корабль.

«Ну, прыгайте! Прыгайте за борт, ребята-а!!!»

Но они стояли… Даже видя, что погас «флагманский огонь», понимая, что линкор остался без командования, они продолжали надеяться, верить… ждать команды…

Неожиданно флагман вздрогнул, словно живой, чуть выровнял свое положение, потом снова резко накренился налево. Дальше левый крен стал стремительно нарастать. Тесные шеренги моряков, стоящих на юте в надежде на спасение, как горох покатились в темную морскую пучину, наконец-то начали спрыгивать с палубы, исчезающей под их ногами. Сорванные с мест надстройки и башни, зенитные установки, оборудование — все это валилось вниз и со страшным грохотом падало на палубу, скатывалось в воду, по пути калеча и убивая людей.

Около четырех часов утра линкор стремительно повалился на левый борт и перевернулся вверх килем. Носовая часть корпуса полностью исчезла под водой, а в корме оголились огромные гребные винты. Из физики известно: если нижние палубы сухие, а верхние заполнены водой, опрокидывание любого судна закономерно и неотвратимо. Справедливо и обратное: если судно перевернулось, значит его нижние палубы были сухие, а верхние заполнены водой. Таким образом, личный состав на нижних палубах линкора был блокирован забортной водой с верхних палуб, и не мог покинуть аварийные отсеки. Он был обречен на гибель еще до опрокидывания корабля. Это стало одной из причин многочисленных жертв среди моряков, медленно умиравших на «сухих» боевых постах внутри затонувшего корабля.

Линкор опрокидывался и тонул на глазах сотен несчастных

людей, ссыпавшихся в воду и еще не успевших отплыть от него. При виде темной стальной махинищи, накрывающей их, они издали глухой вопль ужаса. В мгновение все было кончено — они исчезли под линкором. И все затихло. Судьбу каждого теперь вершил фатальный или счастливый жребий.

Начался второй акт трагедии, где жертвами стали еще сотни моряков.

Виталий Говоров припоминает о сказанном выше: «А со временем нам передали команду, чтобы прибывшие с других кораблей собрались на юте. Я поблагодарил матросов за мужество и вышел на палубу. Но попасть на ют не успел, прошел всего пятнадцать-двадцать метров по левому борту, как корабль начал опрокидываться. Успев схватиться за поручень трапа, я заметил, как стремительно промелькнул флаг на фоне освещенных домов за угольной пристанью.

Я падал спиной вниз и видел, как с палубы корабля, накрывающего меня, с грохотом сыпались в воду люди».

— До сих пор мне слышится нечеловеческий отчаянно-беспомощный вопль, вырвавшийся из тысячи глоток тех, кто падал в воду вместе с кораблем или попал под его громаду, — дополняет воспоминания своего командира Николай Николаевич. — Мы с Михаилом были на своем баркасе неподалеку от тонущего линкора, все видели и слышали. Тот вопль очень быстро затих, он звучал какой-то короткий миг и сразу пропал. И тем страшнее был! Вдруг настала тишина, и даже волны перестали издавать хлюпающие звуки. Только на фоне этой тишины, как в аду, выныривали из толщи воды воздушные шарики и с треском лопались на поверхности.

Виталий Говоров рассказывает, что с ним происходило под водой: «Меня накрыло кораблем и я на миг потерял сознание, но скоро пришел в себя от того, что все вокруг кишело, со всех сторон меня толкали ногами и руками. Попробовал двигаться и я, но не смог. Моя грудь была прижата к чему-то плоскому, что вдавливалось в меня с невероятной силой (еще бы не тяжело было — держать на своей груди тонущий линкор!) Ощущение этого натиска не забывается и поныне. Я наглотался воды и снова потерял сознание. Последней была мысль: „Как по-дурному приходится погибать…“

Сознание вернулось снова, когда меня понесло вверх в огромном пузыре воздуха. Мне невероятно повезло: этот пузырь вырвался из затопляемого помещения и, оборвав пуговицы на кителе и сорвав с меня брюки, выбил меня из-под палубы. Я вынырнул на поверхность недалеко от линкора и невольно начал отгребаться от него, чтобы не попасть в водоворот».

— Мы вытянули нашего командира на баркас недалеко от линкора, к которому отважились приблизиться, не считаясь с воронками. Лезли туда — как сердце мое чуяло, что так надо делать! — дополняет рассказ своего командира Николай Николаевич. — Сначала не узнали его, и он нас не узнавал, вырывался, кричал, что надо отплывать подальше от корабля. От резких движений у него вдруг открылось кровохарканье. Вид у него был страшный: грудь расплющена, со спины сорвана кожа, правая рука висела, как тряпка.

— А таки выжил, — откликнулась я. — Еще и отгребался от линкора.

— Выжил. Оказалось, что он еще получил сотрясение мозга и оторванную правую лопатку. В итоге стал инвалидом, но живым, — рассказчик впервые за все время беседы улыбнулся.

— А другие ребята из вашей аварийной группы?

— Еще пятеро отделались незначительными травмами, а двое не вернулись… Правда, и со второй группы не вернулось три человека…

То, что творилось в воде на месте трагедии, тяжело передать. Самое страшное происходило в кормовой части линкора. Даже те счастливцы, которым удалось спастись, выбраться из морской пучины, позже не могли описать, что творилось с ними и на их глазах. Им не хватало слов.

Моряки, которые замешкались, покорно стоя на палубе в ожидании спасения, сваливались с накренившегося в падении корабля на головы своим товарищам, попавшим в воду минутой раньше и не успевшим отплыть подальше. В воде те и другие — одетые в бушлаты и матросскую робу, в обуви — образовали беспомощную толчею, слепую стаю, скопление людей, барахтающихся, цепляющихся друг за друга в стремлении выжить. Кое-кто успевал ухватиться за плавающий предмет, упавший с корабля или брошенный со спасательных баркасов и катеров. Но большинство людей быстро тонули. При этом они тянули за собой находящихся рядом. В таких ситуациях даже ловкие пловцы не имели силы вынырнуть на поверхность после падения с высоких надстроек и бортов линкора. Те, кому сверхчеловеческими усилиями удавалось удерживаться на поверхности воды и освободиться от мокрой одежды, старались поддерживать товарищей. Но и такие «цепи», перегруженные обессиленными, растерянными матросами, скоро рассыпались и слабые тут же погибали. Море кипело кровью и травмированными телами.

Были моряки, успевшие прыгнуть в воду чуть раньше опрокидывания корабля и даже отплывшие подальше от него. Но

тонущий гигант «догнал» их и накрыл своим телом. Другие вроде и отплыли на приличное расстояние, однако быстро истощались, теряли силу, и их уносило на дно мощными потоками воды, хлынувшей внутрь корабля. Очень многие погибли иначе: разбились о правый острый бортовой киль, который «наехал» на них снизу, рывком выступив из воды. Корабль еще оставался на плаву, и некоторые моряки взбирались на его обнаженное днище, раздирая в кровь руки и ноги об острые наросты ракушек на обшивке.

Аварийщики доставали людей из воды руками и специальными крюками, кое-кому бросали спасательные круги, жилеты, деревянные предметы. Все это происходило в кромешной тьме. Слабенький свет луны исчез, флагман больше не светился, а свет, который шел сюда от прожекторов соседних кораблей, закрывали тени множества плавающих спасательных судов.

Николай Николаевич вспоминает такой случай. Он продолжал вывозить на сушу раненых и передавать работникам госпиталя. И вот он стоял на берегу, ожидая, когда разгрузят его баркас, и увидел моряка, отчаянно удерживающегося на волнах. Подплыв почти к самому срезу воды, тот моряк почему-то никак не мог окончательно выбраться на сушу. Кто-то крикнул: «Браток! Здесь уже мелко, выходи!» Но моряк молча продолжал колотить по воде руками. Тогда один из легкораненых моряков бросился к нему, чтобы помочь выйти. И тут обнаружилось, что у моряка нет обеих ног! За ним волочились, оставляя в воде кровавые следы, перерубленные, очевидно гребным винтом спасательных баркасов, культи. Моряка подхватили на руки и вынесли на берег.

Напряжение доходило до того, что у некоторых «новороссийцев», уже спасенных или тех, кто своими силами доплыл до берега, не выдерживало сердце и они падали замертво. Так погиб представитель особого отдела эскадры, ответственный за корабль.

Николай Николаевич шел к берегу с полным баркасом, когда у одного из офицеров случился, как ему показалось, обморок от перенапряжения, и он не сразу понял, что тот умер. Высшие флотские чины, которые прибыли на линкор после взрыва, тоже оказались в воде. Почти всем им повезло спастись. Вице-адмирала Пархоменко живым и невредимым подобрал второй баркас с крейсера «Молотов», который после доставки второй аварийной группы на линкор тоже остался спасать утопающих. Вице-адмирала пересадили в шлюпку и отвезли на Графскую пристань, откуда он, мокрый и полураздетый, отправился в штаб флота, чтобы доложить о катастрофе в Москву.

Поныне Николай Николаевич не может забыть ту страшную

ночь. Не раз она возвращалась к нему в страшных снах, где повелитель моря Нептун продолжал хрустеть принесенными в жертву людьми, громко щелкая челюстями и подбирая слюну с жирной бороды.

* * *

После гибели «Новороссийска» над водой осталась торчать кормовая часть днища длиной около сотни метров и высотой до трех метров. Опрокинутый гигант продолжал медленно погружаться в воду, вернее, уходить в ил.

Свыше трехсот человек из тех, кто стоял на палубе или кто оказался в воде возле него и не успел отплыть, погибли одномоментно, когда линкор перевернулся. А внутри осталось еще свыше ста моряков, часть которых до последнего вздоха находилась на своих боевых постах, другие же находились в кубриках, так как по правилам боевой тревоги, о которых уже говорилось, кубрики были закрыты.

И их надо было спасти, поэтому, как только утихли волны, поднятые гибелью корабля, восстановились спасательные работы. Все понимали, что без спасателей моряки, попавшие в ловушку моря, обречены на медленную мученическую смерть в воздушных мешках. Скоро после смятения, вызванного окончательным погружением «Новороссийска», те моряки, что искали спасения на его обнаженном днище, а также те, что подходили к нему на спасательных судах, начали слышать идущие изнутри корпуса частые постукивания, которые со временем нарастали и вскоре превратились в сплошной глухой звук. Об этом, конечно, немедленно доложили командованию. Но… распоряжение сверху опять почему-то опаздывало. А люди, заживо захороненные под водой, надеялись, призывали на помощь, давали о себе знать.

Наутро второго дня видимое погружение корабля прекратилось, его корпус остановился и на некоторое время занял устойчивое положение. То, что помещения и отсеки поверженного исполина были задраены по-боевому, т. е. имели удовлетворительную герметичность, давало повод надеяться, что большого объема остающегося там воздуха морякам хватит, чтобы выжить и дождаться спасения. Приказов свыше относительно помощи этим людям все еще не поступало. Спасателям было невыносимо слышать мольбы о помощи, доносящиеся из-под воды, и ничего не делать. И они по собственному почину начали отыскивать возможность помочь несчастным.

Вечер последнего для «Новороссийска» дня был тихим, теплым и багряно-красным — погожий вечер середины осени. Но Николаю Николаевичу Сидоренко виделось в этом цвете заката что-то зловещее, что вызывало неприятное и тревожное чувство.

Солнце красно поутру — рыбаку не по нутру,
Солнце красно вечером — рыбаку боятся нечего.

Он припомнил эту морскую прибаутку и успокоился. Но и утро засвечивалось хмурым и печальным светом, как будто небо знало толк в человеческих проблемах и сейчас грустило вместе с ними. Новый день запустил короткую руку в чащобу ночи, и над горизонтом потянулись густо-розовые пряди. В свете тусклого солнца удивительно странными были краски умирающего октября.

Утром подошли спасатели подводных лодок «Бештау», «Скалистый» и прочие, где были опытные водолазы. Рассказ об их работе составляет отдельную страницу этой трагической истории.

Вообще водолазы развернули свою работу еще тогда, когда днище линкора торчало над водой. Первой их задачей было достать со дна моря утопленников. Производить эти работы приказали только ночью. А как, когда на дне и без того стоит темень? Нашли такой выход: днем водолазы обследовали дно, находили тела погибших и закрепляли на каждом из них бечевку, а второй ее конец фиксировали на своем поясном ремне. Потом всплывали на поверхность и здесь второй кончик каждой веревки перевязывали на борт судна, чтобы поднять покойника, когда стемнеет. Под вечер весь борт стоял в узелках.

Ночью подходила десантная баржа, водолазы вынимали из воды найденные тела и погружали на нее. А дальше переправляли их на Инженерную пристань. И снова возвращались на морское дно, начинали новый круг той же работы.

«Когда спасли всех, кто находился в воде, и оставалось оказать помощь закрытым в герметичных помещениях затонувшего линкора, мы возвратились на свой крейсер. Настала очередь работать водолазам специальных спасательных судов, — снова делился воспоминаниями Николай Николаевич Сидоренко. — Но моя миссия продолжалась, так как надо было найти двух матросов из моего электротехнического отделения, хотя бы среди погибших. Утром мне давали выпить полстакана спирта и везли на их опознание среди множества вынутых из воды тел, лежащих рядами прямо на земле. Таких поисковиков как я с разных кораблей набралось несколько человек. Мы ходили группкой, чтобы не так жутко было, и всматривались в

распухшие, изъеденные мазутом лица. Но узнать никого не могли, при мне только одного мальчика распознали по родинке на ноге. Офицер, который нас сопровождал, записал его фамилию в блокнот, затем бросил найденные документы в длинный фанерный ящик. Там уже лежала груда боевых книжек и комсомольских билетов, пропитанных водой, в которых прочитать ничего не удавалось».

Мертвых, пробывших в воде несколько часов, уже тяжело было узнавать — соль очень быстро разъедала тела, делала неузнаваемыми. Николай своих матросов среди погибших не нашел и ему думалось, а вдруг они не утонули, а находятся внутри линкора? Вполне возможный вариант, ведь они работали именно в отсеках потопающего корабля, боролись за его живучесть. Эта мысль окрыляла не только его, но и других поисковиков и они, взобравшись на киль перевернутого исполина, старались достучаться до людей, закованных внутри, и установить с ними связь. Не удалось, из-под воды продолжали доноситься только хаотичные стуки, как и в начале.

И все же эти усилия оказались не напрасными. Профессиональные спасатели, увидев, что они слушают корпус корабля, присоединились к ним, не ожидая приказов. По силе идущего изнутри звука они определяли местонахождение людей, кто из них расположен ближе к кормовой оконечности днища. Нашлось и место с тонким промежутком между днищами корпуса, лежащее близко от внешней обшивки корабля. Оно приходилось на местоположение одной из дизель-электростанций. Конечно, там должны быть люди! В десять часов утра моряки со спасательного судна «Бештау» под командованием капитан-лейтенанта Малахова именно здесь сделали первый разрез корпуса с помощью автогенных резаков. Какой огромной была радость, когда из отверстия на поверхность вышло семь моряков, героев, до последнего обеспечивающих линкор электричеством с 4-й электростанции.

Успех прибавил спасателям настойчивости, они начали действовать активнее, снова резали обшивку днища, снова резали… Но из прорезов только со свистом выходил воздух.

С каждой попыткой все больше и больше воздуха выходило изнутри корабля, и все меньше воздушных мешков оставалось там. А это означало, что, во-первых, все менее короткой оставалась жизнь замурованных моряков, и во-вторых, что линкор терял остатки плавучести. Он снова начал тонуть, навсегда отсекая своим пленникам путь к возможному спасению. Попытки проникнуть внутрь корабля не прекращались, в сделанные отверстия ныряли даже люди без водолазных костюмов.

Второй успех был не таким окрыляющим: спасли лишь двух человек. Собственно, их чудом подняли наверх. Под водой искали начальника технического управления Черноморского флота инженер-капитана 1-го ранга Иванова. Водолазов предупредили, что на посту энергетики и живучести Иванов переоделся в рабочий китель с капитан-лейтенантскими погонами и, вероятно, именно там и находится.

И вот на третьи сутки постоянных попыток определили, что в 31-м кормовом кубрике есть живые люди. Кубрик был почти полностью затоплен водой, и моряки плавали там в непроглядной тьме, удерживаясь за пробковый матрас.

Звуковые сигналы о спасении, поступавшие из затонувшего корабля, погруженного теперь на недосягаемую глубину, с каждым днем делались слабее. И вдруг закованные под водой моряки запели «Варяг»! Потеряв надежду на спасение, они посылали живым последний привет, посылали весть о своем сопротивлении трагедии, о своем непобедимом духе, о верности кораблю, с которым теперь сливались в одно и погружались в вечность. Они уходили в общую с линкором историю спокойными, собранными, с осознанием того, что произошло. А потом затихли. И это было страшнее всего — понимать, что большое количество людей погибло по вине живых, не справившихся с ситуацией, не сумевших сплотиться и оказать квалифицированную помощь.

Неподалеку от места гибели линкора «Новороссийск» работала группа ученых, проводивших эксперименты по подводной беспроволочной связи с легкими водолазами и аквалангистами. В три часа ночи под 29 октября 1955 года их побеспокоили военные моряки и попросили присоединиться со своей аппаратурой к спасательным работам.

«Я включил прибор, довел его до рабочих параметров, — рассказывает радиоинженер Виктор Михайлович Жестков, — и взял микрофон. Когда связь наладили, с моряками, остающимися под водой, начал говорить руководитель черноморских подводников, контр-адмирал Флота Николай Иванович Смирнов».

«В наушники гидрофона донеслось едва слышное пение, — делится воспоминаниями Николай Иванович. — Все, кто был на спасательном катере, прикипели к выносному динамику. „Врагу не сдается наш гордый „Варяг“. Пощады никто не желает…“ Умирая, „новороссийцы“ пели „Варяг“. Такое — не забыть…»

Часть 2. Жнецы потерь

На мой вопрос, кто может рассказать мне о Юре Артемове, мама сказала:

— Пойди к Саше, его родному брату! Чего ты сомневаешься?

— А кто это?

— Ой, да за домом быта живет, первый дом за углом! Забыла?

— Нет, не забыла, — я потерла лоб, припоминая, о ком мама говорит. — Не могла подумать, что он — брат того Юры.

Александра Артемова, младшего Юриного брата, я, оказывается, хорошо знала. Помнила его высоким и стройным юношей, правда, немного худым. Унаследовав слабое здоровье от своего дедушки Ивановского, он тоже тяжело болел туберкулезом. Но все же победил недуг, женился на женщине, приехавшей в Славгород из Белоруссии, и стал отцом трем ее детям. Признательная Галина родила Александру еще одного — мальчика Виталия. Все это было еще при мне, когда я жила тут — рядом с этими людьми.

Александр имел тихий характер, был симпатичным мужичком, вежливым, дружелюбным. Он всегда застенчиво улыбался, будто извиняясь за что-то.

Да, я его знала давно.

К Саше отправились вдвоем с сестрой. С собой взяли огромный арбуз. С этим подарком подошли к подворью, опрятно обнесенному штакетником, и позвали хозяев, стараясь перекричать собачий лай. На пороге появилась Галина. Она молча подошла к калитке и начала холодно рассматривать нас.

Не узнавала! Конечно, более тридцати пяти лет прошло с момента моего отъезда отсюда. Целая жизнь…

Напоминать о себе было бесполезно.

— Вы должны помнить нашу маму, Прасковью Яковлевну, — сказала я. — Мы пришли к Саше. Можно войти?

Это сработало безотказно, Саша — авторитетный человек в Славгороде, так как играет в духовом оркестре. Этим все сказано.

Мы так и стояли бы около калитки с тяжеленым рябым арбузом в руках, который моя сестра обеими руками прижимала к белоснежной блузке, если бы Саша не пришел домой почти вслед за нами — выскакивал в магазин за покупками.

— О! Каким ветром? — воскликнул он, сразу узнав нас.

На мой вопрос о Юре развел руками.

— А что рассказывать? Был он, и не стало его. Сколько лет прошло…

— Да, — сказала я. — Вот вспомнили мы о нем через сорок

шесть лет.

Конечно, прийти вот так неожиданно к человеку и начать расспрашивать о событиях почти полувековой давности, от этого каждый растеряется. Но теряться — это его дело, а докапываться до истины — мое. Потоптавшись на воспоминаниях, мы все же узнали от Саши многие факты Юриной жизни.

— Как раз в то время случилось обострение моей болезни, туберкулеза, — неловко рассказал Александр, когда я спросила о гибели брата. — В армию меня не взяли, и я, еще не свыкшись со своим состоянием, переживал это болезненно, замкнулся в себе. Поэтому мамину тревогу о Юре считал несколько преувеличенной. Что могло стрястись с молодым мужчиной, который почти отслужил военную службу и должен был получить от жизни законно завоеванное счастье? Подумаешь, большое дело, что не пишет! А о чем писать, если он вот-вот приедет?

* * *

Что ни говорите, а есть-таки на свете промысел Божий, даются нам от него указательные, провидческие знаки, смысл которых приоткрывается в моменты озарений. Когда я уже наработала немало текста, то вдруг подумала, что не помешало бы познакомить с ним моих рассказчиков. На этот раз сопровождать меня попросила маму, Прасковью Яковлевну, — первейшую здешнюю книжницу, известную в Славгороде старому и малому.

Как раз прошел дождь, и густые облака испарений поднимались над землей, смешиваясь с подступающими сумерками, да не простыми сумерками, а сумерками, закрытыми от солнца гуашевыми наплывами августовской облачности. Было пасмурно и неуютно. В поселке — пусто, только мы с мамой по собственному побуждению плелись улицами, как две одержимые, побирались у людей каплями для переоценки или повышения значимости моих героев.

У Саши Артемова в гостях сидела Рая Соколова, местная дурочка, разговорчивая и всезнающая, от чего иногда казалось, что от нее исходит затаенная мудрость, и она совсем не дефективная умом, а только притворяется такой, чтобы насмехаться над доверчивыми простаками. Рая сидела в забытом уголке на веранде и хлебала борщ, нелукаво нахваливая его. Галина отдыхала на диване, зажав руки между коленками и покачиваясь вперед-назад, — страдала от повышенного давления. Изредка она вяло нюхала нашатырь, спасаясь от головокружения.

Александра снова дома не было.

Я уже готовилась разлиться перед Галиной не знаю какими словами, как он вынырнул из отсутствия и тут-таки улыбнулся. Вместе с ним пришел парень, на первый взгляд вылитый тебе Юра, разве что более низкого роста и усатый.

— Это не Виталий ли? — спросила моя мама.

— Его и родные не узнают, а вы сразу! — обрадовался Александр тому, что его сына не забывают односельчане.

Мы заговорили о Юрии, о фотографии его мамы, которую я нигде достать не могла, о море и «Новороссийске», и Виталий аж загорелся:

— Сейчас! — крикнул и побежал в хату, а я попросила Галину просмотреть рукопись.

На это у нее ушло не более пяти минут.

— Все так, — согласилась она, возвращая прочитанное. — Рая, ты поела? — обратилась к нахлебнице.

— Ага.

— Тогда чеши отсюда, дай поговорить.

Рая — не говорите, что полоумная — вмиг исчезла, как понятливая.

— Это не мир, а чистая тебе очередь за счастьем, такая давка, — засмеялась я, выражая согласие с Галиной.

В это время из комнат вернулся Виталий.

— Вот! — протянул мне пожелтевшие, истрепанные листы мелованной бумаги. — Это о «Новороссийске», вдруг вам пригодится.

— Неужели первая публикация? — не поверила я нечаянному обретению.

— Не знаю. Я тогда служил в Польше. Как-то листал новые поступления периодики из Союза и натолкнулся на статью о линкоре. Так я ее вырезал, да и не сокрушаюсь. Здесь она нужнее, не сдуру же взял, а на память родному брату о погибшем. Теперь пусть вам будет.

— Спасибо!

Оказалось, что Виталий давно живет в Николаеве, имеет семью, детей, но не забывает о родном дяде, погибшем в Севастополе еще тогда, когда его и в проекте не было. Сейчас он оказался здесь проездом, буквально на полсуток заскочил к родителям, где не был уже много лет. Статья Николая Черкасова «Реквием о линкоре», ставшая первой публикацией о катастрофе после долгого ее замалчивания, долго ждала меня здесь, в хранимом Сашей военном архиве сына Виталия. Не будь Виталия сейчас и здесь, мы бы с Сашей не нашли ее, она бы ко мне никак не попала. Разве это не судьба? Меня также порадовал интерес

Виталия к истории своего рода, к памяти о старине, в конце концов, к своей Родине. Сейчас такое не часто встретишь. И еще одно поражало: где тот Виталий в Николаеве, не приезжающий сюда годами, и где та я в Днепропетровске, тоже бывающая тут не чаще… И что мы значим для этой истории, если нам суждено было вот так неожиданно встретиться в Славгороде и дать новую жизнь этой статье в «Смене», да еще неизвестно когда привезенной из Польши? Чудеса! Мистика!

Я еще раз убедилась, что делаю то, что должна делать, и ведет меня по этой стезе само провидение. И я не простила бы себе, если бы не пришпорила этого доброго поводыря, а стоило-таки, так как нигде не могла раздобыть фотографию Сашиной — и Юриной — мамы, Веры Сергеевны. Как не жил человек — нигде и следа не осталось. Прямо беда!

— Да есть у меня одна, — неуверенно сказал Саша, выслушав мои жалобы. — Только не знаю, мама ли на ней, или кто-то другой. Очень старая фотография.

— Если не возражаете, я взгляну, — вмешалась в разговор моя мама. — Я Веру очень хорошо помню, даже в колыбели узнаю.

Она взяла фото, рассмотрела его и пришла к выводу, что это Вера Сергеевна, только очень молодая. Так и вышло, что в моей книге рядом с Юриным помещен и портрет его мамы. Хоть сомнения, Вера Сергеевна ли это, еще оставались, и я должна была от них избавиться.

В тот вечер ко мне шло везение в руки, и я едва успевала придерживать его и не отпускать. Мы разговорились о братьях Артемовых.

— Алексей давно умер, а Василий, вон там, — показал в окно, — через дорогу живет, можем сходить, если хотите, — предложил Саша.

Еще бы не хотеть! Я согласилась.

Едва мы вышли с Сашиного двора, как увидели Василия, пасущего на свежей травке гогочущее стадо гусей. Он держался за сердце и имел весьма помятый вид — давала себя знать погода с пониженным атмосферным давлением, так он нам объяснил. Коренастого и высокого Василия не красило болезненное изнеможение, казалось, он просто устал и хочет быстрее избавиться любого общения. Но мы это увидели поздно, когда уже подошли к нему. Вот и пришлось нам, если и отступать пустынными — и уже посеревшими! — улицами домой, чего и сами желали, задержавшись на посиделках, то хотя бы не с пустыми руками.

Василий во всем был резкой противоположностью Саше — и

крупнее, и неулыбчивее, и малословнее.

Извинившись за неожиданный визит, я сказала отрекомндовалась.

— Вам, наверное, говорили о моих попытках восстановить страницы Юриной жизни. Моя мама и ваш брат Александр помогают в этом, — объяснила дальше. — Надеюсь у вас найти хоть какой-нибудь снимок Веры Сергеевны.

Василий Алексеевич сказал, что, если бы я пришла и без мамы и без Александра, то все равно он меня узнал бы. Приятно — кто же возражает? — такое слышать.

— Маминого фото и у меня, к сожалению, нет, — сказал он по существу вопроса. — Мы уже обсуждали это между собой. Не знаю, как такое могло случиться, что ни у кого не осталось ее фотографии. А мы и не заметили…

Что же, мне и так было чем утешиться — нашла ведь какую-то. И я смирилась с тем, что на этот день с меня хватит и этого.

— Разве, может, в Юрином альбоме что-то есть.

— В Юрином? — аж встрепенулась я, не веря счастью.

— Да, у меня остался его «дембельский» альбом, пойдемте, — и он решительно зашагал к дому.

Едва поспевая, мы прошли следом за Василием и сели у подъезда на лавочке. Через несколько минут Василий вынес мне — ошеломленной от щедрости судьбы, никак не подвижной, замершей и притаившейся, только бы не сглазить счастье, — старый от долгого хранения, выцветший и запыленный альбом, в который Юра полстолетия тому назад собирал фотографии для памяти о военной службе.

— Пусть у вас хранится, — сказал Василий, вручая мне эту драгоценность. — Так сохраннее будет.

Я растроганно поблагодарила за такое доверие.

Того, что я исткала, и там не было, — мистика? — но теперь это не имело значения. Я держала в руках собственный Юрин архив, тот, которого он касался! И мне его доверчиво передали для пользования. Что в нем? Конечно, только фотографии: много раз сфотографированный линкор в море и на стоянке; сам Юра на палубе, в городе, среди друзей; друзья-моряки, виды Севастополя, очень много снимков тети Зины — Зинаиды Сергеевны; модные на то время раскрашенные фотографические открытки с изображением влюбленных пар в обрамлении голубей и цветов. Была здесь и фотография Юриного дяди Ивановского Владимира Сергеевича. Это был единственный мужчина из рода Ивановских, кроме отца Алексея Васильевича, которого Юра помнил еще мальчиком и несомненно значительной мерой находился под его влиянием. Во всяком случае снимков других родственников

мужского пола в альбоме не было. Под большой фотографией Владимира Сергеевича, с которой он смотрит на людей с мировой печалью в глазах, красивым Юриным почерком выведены две даты: 1915 — год рождения (дня нет) и 23 ноября 1943 — год гибели на фронте.

Бог мой, что за судьба! Почему она забила мужчин из этого рода все более и более молодыми: в 31 год умер отец, в 28 лет погиб дядя и самого Юры не стало в неполных 24 года? По нашим теперешним меркам это были совсем юноши!

* * *

Юра должен был демобилизоваться в ноябре 1955 года, но уже тот ноябрь истек и декабрь начался, а вестей от него не было. Вера Сергеевна беспокоилась. А потом вспомнила, что недавно к ней приходила Юрина невеста, Нина Столпакова, и спрашивала о письме от Юры, сбиваясь, намекала на свой сон, на предчувствия, городила всякие небылицы. Вера Сергеевна на те слова сначала не обратила внимания, но со временем почувствовала в них скрытое значение и ухватилась за них. Вдруг Нина что-то знает о Юриной задержке, вдруг они с Юрой решили после женитьбы покинуть Славгород, и Юра, демобилизовавшись, поехал искать работу?

Как-то вечером она отважилась и пошла к Нине. Девушка снова говорила что-то невнятное, дескать, она сама ничего не знает, нервничает, написала письмо то ли Юре, то ли командиру корабля.

— Мы как раз попали в ситуацию, когда вынуждены были делать ремонт в хате, — рассказывал мне дальше Александр об этом страшном периоде их жизни. — Настали холода, а у нас печка не работает: курит и дымом все застилает, глаза режет — ну, спасу нет. В хате стало холодно, грязно от дыма, неуютно, по углам вдруг проявились обвисшие паутины. Мне, больному, страдающему обострением туберкулеза, никак нельзя было дышать таким воздухом и вообще находиться в холоде. И я на несколько дней ушел к бабушке. Конечно, эти бытовые неурядицы здорово отвлекали маму от других волнений. Из-за них все остальное казалось не столь важным. Мама металась, нервничала, не зная на что решиться, жаловалась соседям и сотрудникам. Ситуация давила на нее, вырастала в непреодолимое препятствие, раздражала и угнетала. Как-то на работе, болтая то с больными, то с медперсоналом, мама поплакалась на эти беды, сказала, что остается в зиму без отопления и надо решаться на переделку

печки. А мужских рук нет. Вот, мол, и грубку перебрать не помешает, может, в ней причина. Конечно, болтала с умыслом, потому что заодно просила присоветовать хорошего печника. Ведь это не такое простое дело, как кажется. Здесь нужен понимающий человек, мастер. Да совестливый, и с руками, чтобы и материал завез сам, разобрал все и сам собрал сызнова. Короче говоря, чтобы выручил быстро, не разводя в хате грязноту на неделю. Мама хотела управиться до Юриного приезда.

— Да, — поддакиваю я. — Знаю я эти ремонты, несвоевременные и спешные.

Недаром в народе говорят, что главное сокрыто в деталях, в мелочах. Так оно и тут получилось.

Слухи о намерениях Веры Сергеевны устроить ремонт в хате дошли до некоей Нины Аврамовны. Это была родная сестра Марии Аврамовны Кириченко с Инкермана, у которой часто гостил Юра. Никакой мистики никто бы тут не заметил, видя лишь чистые совпадения — Нина Аврамовна как раз лежала в больнице, где Юрина мама стряпала и кормила больных.

Эти слухи Нина Аврамовна передала своей матери, старой Кириченчихе, когда та пришла проведать ее. После обязательных расспросов о здоровье, старушка спросила:

— Ну а что в селе нового? Что у вас тут люди рассказывают? А то я сижу дома, не слышу ничего, не знаю…

— Да новостей особенных нет, — отчитывалась Нина Аврамовна своей матери. — В поселке все спокойно, — тут она зевнула и улыбнулась: — Чудеса только те, что у Кати Богдановой из нового выводка курочка странная появилась — несет яйца с двумя желтками.

— Ага, вот, значит, что, — кивала старушка головой. — А вас чем тут кормят? — продолжала расспрашивать она, разворачивая перед дочкой свежие и еще горячие пирожки: — Ты ешь, ешь. А вот молочко — запьешь.

— Кормят как раз неважно, — призналась выздоравливающая. — Сегодня Вера Артемова кормила нас подгоревшим пловом, да еще недоваренным. Совсем невкусным. Так что твои пирожки пришлись кстати. Спасибо!

— Неужели? — удивилась старушка. — Почему вдруг такой брак в работе при ее умениях?

— Беда у нее дома, вот и брак, — простодушно болтала Нина Аврамовна, — печка не горит… — и дальше просто так, чтобы о чем-то поговорить и развлечь навещающую ее мать, точь-в-точь передала разговор с Верой Сергеевной: о печке, о больном Саше, о скором приезде Юры, который как специально задерживается, словно ждет, когда у нее в доме тепло появится.

Других-то новостей не было.

Старая Кириченчиха слушала дочку и все больше хмурилась. Прямо на глазах у нее опускались плечи и вся она становилась меньше и суше. Вроде накатила на нее вдруг невероятная усталость. Выслушав дочку, буркнула:

— Этот ремонт денег стоит… Не на день-два затея… Ей бы сейчас не связываться ни с чем.

— Главное, печника найти, — буркнула Нина Аврамовна. — Я вот вспоминаю, кого бы ей присоветовать, и вспомнить не могу. Не знаешь, кто ставил печку в новой хате Малашки Полсветихи?

— Кто-то чужой, приезжий, — в раздумье сказала старушка, отрицательно качнув головой. — Надо спросить у Гришки, киномеханика. Говорят, он на своем краю этим летом вдовам бесплатно кабицы[5] ставил — упражнялся.

— Ага, будешь идти мимо клуба, так зайди и спроси.

— Тогда я пойду потихоньку, — встала старушка. И вдруг спросила: — Ты читала последнее письмо от нашей Маруси?

— Читала. А что?

— Ничего, — мать посмотрела на Нину Аврамовну долгим и строгим взглядом: — Ничего. Ни-че-го. Поняла, дочка? — и в ответ Нина Аврамовна только испугано закрыла рот ладонью.

— Поняла, поняла… — прошептала она. — Ну иди тогда. Да?

Из больницы старая Кириченчиха, не посчитавшись с трудом, поковыляла к своей соседке, Ивановской Марии Иосифовне. А там завела разговор о всяких пустяках, о приболевшей и уже выздоравливающей дочке, и приглашала заходить к ней вечером на чай со свежими пирогами.

Мария Иосифовна благодарила подругу юности, дорогую соседку, а та продолжала:

— У тебя, вижу, Саша гостит, внук, вот и ему я пирожков передам.

— Поневоле гостит, — подхватила Ивановская, которой тоже не терпелось выговориться, — потому что холодно у них дома.

— Почему? — невинно спросила слушательница. — Дров нет?

— Печка не работает. Вера ищет, кто бы ее переделал. Говорит, что возьмет отпуск, разобьется, но доведет дело до конца.

— Да ведь это хлопоты! — воскликнула старуха Кириченчиха. — Не к месту они зимой. Да и расходы немалые! Опять же, зачем ей отпуск тратить на пустяки? Не надо затеваться с ремонтом, — и начала во всяких словах и со всякими аргументами советовать, чтобы та повлияла на Веру Сергеевну и убедила отложить ремонт печки до лета.

— Что же делать?

— Надо подождать, потерпеть. Не у вас одних печка курит поначалу, оно нормализуется. Или пусть в дымарь заглянет, может, там вороны гнездо свили! — горячо уговаривала Кириченчиха соседку. И прямо выталкивала из дому: — Иди к Вере, иди. Не откладывай. Скажи, пусть не спешит. А то потратится, развалит хату, переведет отпуск…

Дальше — больше: растревожившаяся Мария Иосифовна, заподозрив, что хитрая Кириченчиха что-то скрывает, в тот же вечер пришла к Вере Сергеевне, своей дочке.

— Ой, послушай, что тебе люди говорят, — отчаянно запричитала от порога. — Ой, горе! Да они же зря не скажут, потому что имеют связь с Севастополем!

И тут Вера Сергеевна словно прозрела. Почему сразу, как только забеспокоилась, не связалась с Инкерманом, с Марией Аврамовной? Ведь если там случилось что-то плохое, то она уже знает. Как-никак, у нее муж — военный моряк. Точно — это она сообщила славгородским родственникам о несчастье. И неравнодушие старухи Кириченко к ее возне с печкой говорит об одном — надо быть готовой к неприятностям, не связывать себя ничем, не тратить деньги. Как выяснилось позже, так оно и было.

— А через день или два развернулись основные события — нам пришло письмо о том, что Юра погиб. Кто писал, — не помню. Мама очень тяжело перенесла это горе, — говорил Саша.

— Представляю… — прошептала я.

— До конца жизни она благодарила и Нину Аврамовну и старую Кириченчиху, считая, что неравнодушием и горячим участием в наших делах они спасли ее. Оно как получилось? — рассуждал Саша дальше. — Сначала казалось, вроде они по-бабьи суетились, лезли в наш ремонт, не в свое дело… Раздражало. Потом заставило задуматься, потому что такое поведение было не свойственно им. А следом и вовсе насторожило маму, настроило на понимание случившейся беды, на получение тяжелого известия. Эти женщины с простым, но теплым сердцем сделали все, чтобы смягчить маме удар. Без той преждевременной тревоги, которую они в ней посеяли, без заботы, подготовившей ее к удару, она бы его не вынесла.

Да, думала я, так оно и было…

После тех потерь, которые уже знала моя собственная душа, в самом деле легко рисовалось, как могла пережить Юрина мама трагическое известие.

Вот она перечитала сообщение о гибели сына дважды, трижды, и на нее сошел грозный холодный покой — подтвердилось то, о чем уже бессознательно зналось,

подозревалось с недавних пор. Вера Сергеевна долго сидела как статуя, так же бездумно и неподвижно, такая же белая и безжизненная. Ей не приходило в голову, что произошла ошибка, что написанное в письме не соответствует действительности. Она не сомневалась, что Юра погиб. Как ему было в последний миг, что он чувствовал? Понимал ли он происходящее? Она ощутила глубокое, непреодолимое горе, затаившееся, навсегда приросшее к ее душе. Оно неподвижно лежало там, только непрестанное пульсирование его желеобразного, страшного тела причиняло тоску и боль. И еще она обнаружила в себе странное ощущение, не знаемое раньше и не распознанное в первый миг, — опустошение, одиночество. Даже после смерти мужа, когда в неполных тридцать лет осталась вдовой с четырьмя мальчишками на руках, оно пощадило ее. Почему же теперь пришло? Юра, старший сын, был ее надеждой, ниточкой, протянутой в будущее. На него полагалась, что поможет поднять младших, которым нужны мужской совет и поддержка, позаботится о них и ее на старости присмотрит.

Она вышла на воздух. На вечернем небе раскинулись гряды туч, образованные оранжевыми обрывками с очень холодными бледно-голубыми просветами. Все указывало на то, что завтра будет безветренная погода, не будет мести снегом, как сегодня мело. Может, и морозы придут, исчезнет грязь, сырость та, что будто слезы в глазах природы стоит. Или их уже и нет, это внутренняя стужа студит ее? Вера Сергеевна вспоминала своего дорого мальчика…

И вдруг одна мысль обожгла, как огнем: когда-то она ударила его, надавала пощечин за мелкое ослушание. Господи, как она могла?! Как могла… А теперь его нет, и уже никогда не будет. И ее вина останется в душе вечным укором. Вот оно: Юра ушел в вечность и оставил в ней частичку этой вечности — укор… Уже не сможет она загладить вину свою перед ним, как и добродетели свои отдать ему на служение — не сможет. О, как ревностно она бы искупала тот грех, только бы сынок вернулся! Да видно, ее искупление не нужно миру. Не будет тебе, злодейка, прощения, не найдешь места со своим раскаянием, не избавишься от него, нет. И отныне оно в тебе будет расти, как злая хворь, пока не погубит, не изведет тебя.

С фотографии, висевшей над столом, на нее смотрел потерянный сын и молча предлагал ей страдать. Немое и пустое вместилище ее сердца было свободным от всякого чувства, и места для этого страдания хватало. Что ей было делать, как жить с той любовью к сыну, которая больше ни во что не выливалась — ни в письма, ни в приготовления к его возвращению, ни в мечты о

будущем? Оставалось одно — превратить эту любовь в святыню и тайно от всех поклоняться ей.

Дети позвали ужинать, но она отказалась. Казалось, что земные заботы ее больше не касаются, она уже никогда не оголодает, не захочет пить, не онемеет еще больше. Ее естество замерло, выродилось в кучку материи без нужд и потребностей, зато душа и сердце выделились из него и стали большими, как море, болезненными и горькими без любых сравнений.

Потрясение от гибели Юры было очень сильным, и, возможно бессознательно, Вера Сергеевна старалась сопротивляться навале психических нагрузок, спасать в себе мизерные остатки себя прежней. Она исцелялась воспоминаниями, размышлениями, тихими слезами. Чудовищность ее бесплодных усилий расцветала разноцветными «если бы». Неподвластные ее воле, в воображении множились видения Юриного детства, когда она прижимала его к себе. Вот если бы!.. И она думала, как бы потекла Юрина жизнь, если бы не то или не другое, что конкретно приходило на память. Те призраки какое-то время заполняли ее, каждое «если бы» разворачивалось в мысленные события, которых не было, но которые могли бы быть, если бы… Она мечтала о прошлом. Может, это была болезнь, а может, игра. Но это спасало ее разум.

«Бог мой, — думала Вера Сергеевна, — эти мои руки ласкали его, маленького». И она начинала иначе относиться к себе — надо жить дольше, чтобы дольше жила на земле память о Юре. Ведь больше никто ее не несет в себе. Невеста успокоится и выйдет замуж, детей — нет, не успел завести.

Но Вера Сергеевна, к счастью, ошибалась — память о Юре есть поныне, живая и светлая.

— А вы ездили на похороны? — спросила я, опомнившись от тех видений разыгравшегося воображения.

— Да, ездили мама, тетка Зина и бабушка Мария, но спустя время, не сразу, — сказал Александр. — Моряков тогда уже давно похоронили. Мария Аврамовна Кириченко, у которой они остановилась, рассказала им, что погибших погребали ночью, чтобы в городе не возникали паника и лишние разговоры. Кладбище моряков находится именно в Инкермане, у подножия большого холма или малой горы. И его хорошо было видно из окна квартиры Марии Аврамовны. Мама, тетка Зина и бабушка Мария ходили на могилу пешком, даже бабушка, так что в самом деле там было недалеко.

* * *

Я так и не нашла фотографии Веры Сергеевны, не считая той, что дал Александр. В Славгороде многие знали и хорошо помнили ее, только не я. Где я могла ее встретить? Артемовы жили на другом краю поселка, где я не бывала. Разве что в больнице видела?

Вера Сергеевна Артемова, Юрина мама в молодости

Когда в сентябре 1964 года я попала в больницу с тяжелым недугом, который и до сих пор дает о себе знать, именно Вера Сергеевна могла меня кормить. Но это был последний год ее жизни. Так была ли она еще жива-здорова в сентябре? Кроме того, я почти месяц пролежала, редко приходя в сознание, а потом меня отвезли в районную больницу. Если и видела ее, то не запомнила. Если бы мне удалось взглянуть на ее фотографию последних лет, то я, может, припомнила бы. Поиски мои были напрасными. И только когда во второй раз, как писала выше, я пришла к Александру и начала долго и скучно надоедать, он вынес пожелтевший огрызок старого снимка, на котором нечетко различались три лица.

Снимок был датирован 1936 годом, т. е. когда Саше был год от роду. Такой он свою маму не видел, вот и не мог с

уверенностью сказать, она ли на фото. Хорошо, что со мной была моя мама, она и признала в одной из женщин Веру Сергеевну.

На следующий день мы с мамой отправились через весь Славгород к Зинаиде Сергеевне Тагановой, сестре Веры Сергеевны. Я прихватила с собой экземпляр текста, чтобы согласовать с Зиной некоторые места и получить согласие на публикацию, а мама просто прогуливалась теми улицами, где давно не бывала.

Но дома никого не застали. Едва мы открыли калитку, как оттуда стремглав выскочил отвязанный песик и бросился в заросли частных огородов напротив Зининого двора. Конечно, полетел к хозяйке. Наверняка, где-то здесь был и ее огород, но искать собачку между высокими стволами кукурузы, чтобы натолкнуться на Зину, мы не рискнули. Оставили ей мои распечатки и записку с приглашением прийти к нам. С тем и потопали домой.

Назавтра Зина пришла к нам с самого утра, пока было не жарко — празднично одетая, растроганная прочитанным. На пожелтевшей фотокарточке, которую дал нам Саша, сразу указала на сестру, отбросив сомнения, что моя мама могла что-то напутать, за что я ее чуть не расцеловала.

— Меня интересует один вопрос, — начала я, — но не знаю, захотите ли вы на него ответить.

— Спрашивайте, что надо. Дела прошлые, бояться нечего.

— Нина говорила, что когда Юра знакомил ее со своей семьей, то привел не к матери, а к вам с бабушкой Марией Иосифовной. Почему? Вера не хотела видеть Нину в своем доме? — спросила я.

— Нет, она потом тоже пришла к нам. Просто, — Зина начала искать нужное слово: — у нее тогда были сложные обстоятельства.

И она рассказала печальную историю своей сестры: о человеческой непорядочности, нечистоплотности, о трудной послевоенной поре, о крушении судьбы. Собственно, это был рассказ о покушении на убийство, пусть косвенное, последним актом в котором стала трагедия с линкором и потеря сына.

Вера Сергеевна была старшим ребенком у Марии и Сергея, супругов Ивановских. Она родилась в 1911 году и немного помнила революцию, гражданскую войну, коллективизацию. Но неприятности той поры не затронули ее родных, неимущих и политически нейтральных.

Детство Веры было заполнено воспитанием младших братьев и сестер, и она вспоминать его не любила, говорила, что устала от пеленок, стирок и детских капризов. В девятнадцать лет вышла

замуж за Алексея Артемова. Мужа своего очень любила, и поэтому, не смотря на нелюбовь к возне с детьми, родила ему четверых сынов. Злая судьба тяготела над ней с давних пор: через десять лет счастливой супружеской жизни ее любимый Алексей умер от аппендицита, и она осталась вдовой.

Войну пережила, как и все, — в бедности, холоде, голоде и постоянном страхе. Старшего сына Юрия забрали к себе Артемовы, мужнины родители. А младших помогала поднимать Мария Иосифовна, Верина мама. Кроме Вериных мальчиков других внуков у Марии Иосифовны не было, так как средний сын Владимир, 1915 года рождения, погиб на фронте в 1943 году, не успев жениться, а младшая дочь Зина сама еще была подростком. Да и ту позже судьба забросила в немецкое рабство.

После войны Вера работала на многих предприятиях: на кирпичном заводе, в колхозе — старалась зарабатывать деньги, где могла. В селе знали, что она вкусно готовит, и кто-то посоветовал ей идти работать по этому профилю. Дескать, там и детей лишний раз покормишь. Вера обратилась в сельскую потребительскую кооперацию и ей предложили место повара-официанта в буфете. Заведующей там была Косенко Елена Рафаэлевна — женщина, которую Вера практически не знала. Зато это была женщина, что казалось немаловажным для молодой вдовы, знающей мужскую настырность.

Как-то в буфет зашел незнакомец, немолодой и полноватый, но улыбчивый, легкий на шутку, на приятное слово — такой себе роковой красавец с тускло-оливковыми глазами. Звали его Зиновием Натановичем, для близких людей — Зямой. Вскоре он заморочил голову Елене Рафаэлевне, и она согласилась сойтись с ним гражданским браком. У Зиновия Натановича в Москве были жена, дети. Но, находясь в длительных командировках, он гулял в свое удовольствие. Как бы там ни было, а для дурнушки Елены Рафаэлевны, с ее вечно заплеванным ртом, заезжий повеса был подарком небес.

— Вера, он приглашает меня на море! — похвалилась однажды влюбившаяся Верина начальница.

— Правда? Это так интересно, — не знала, что отвечать Вера.

— А ты подменишь меня на работе?

— Я, наверное, не смогу.

— Ты же иногда оставалась вместо меня и все получалось.

— На сколько дней вы планируете поехать? — спросила Вера.

— Недели на две.

— Ого! Это так долго. Но если мы сделаем переучет и передачу буфета по всей форме, то попробовать можно.

Вера чистосердечно старалась помочь своей заведующей, у

которой не клеилась личная жизнь, даже единственный воровски нажитый сын к тому времени уже был конченным уголовником.

— Перестань! Ну какой переучет? — затарахтела Елена Рафаэлевна. — На него уйдет несколько дней, а для меня, сама понимаешь, каждый из них может стать последним — возьмет и передумает мой Зямчик, бросит меня и другую найдет.

И то так, подумала Вера Сергеевна. Она согласилась поработать в буфете за себя и за начальницу. А через две недели Елена Рафаэлевна вернулась с юга и запела совсем другое:

— Нет, нет, только через ревизию приму от тебя буфет. Ты что? У тебя полон дом голодных детей. Может, ты меня объела за это время.

— Елена Рафаэлевна, что с вами? Какая ревизия? Я же без ревизии принимала от вас дела!

— То ты, а то — я.

А ревизия выявила недостачу товаров на пять тысяч рублей.

— Господи, — плакала Вера Сергеевна. — Откуда взялись те пять тысяч? Да у нас на такую сумму и товара в буфете не было.

— Проторговалась, голубочка, придется отвечать по закону! — злорадствовала Елена Рафаэлевна.

Женщину судили не за растрату, так как не смогли ее приписать Вере Сергеевне, а за халатность, за неправильное ведение документов при передаче материальных ценностей с подотчета на подотчет. Ведь как повар-официант она тоже была материально ответственным лицом. Приговор суда был — пять лет принудительных работ с возмещением причиненного ущерба. Шел 1947 год, на людей грозно накатывались последствия неурожая и голод, а Вера Сергеевна вынуждена была бросать своих малых детей и ехать на строительство корпусов Физического института Академии наук (теперь всемирно известный ФИАН) в Москве.

— За Верой прибыл судебный исполнитель, который обязан был обеспечить ее прибытие к месту принудительных работ и там сдать под местный надзор, — вытирая слезы, вспоминала Зина. — Я с Васильком пошла провожать их на вокзал. Стоим мы на перроне, ждем подхода поезда, жмемся от холодного, пронизывающего ветра. Бедное дитя украдкой плакало и шмыгало носиком. А когда показался поезд и начал быстро приближаться, Василек не выдержал: бросился на судебного исполнителя, начал бить его, кусать. «Отпустите маму, она не виновата, она добрая!» — кричал он. Я его едва утихомирила. И Вера уехала из дому на пять лет, оставив на нас своих мальчишек, — Зинаида Сергеевна успокоилась и ее голос зазвучал ровно, смиренно.

— Как же она могла довериться проклятой Косенко, ведь знала, что это распутница, неизвестно от кого привела сына? — удивлялась, впервые слыша эту историю, и негодовала я. — Да еще и недосмотрела его, он, помню, стал законченным уголовником. Он хромой был, да? С конским копытцем?

— Да, именно такой, — понимающе улыбнулась Зинаида Сергеевна, — с физическими пороками развития. Но уголовником он стал, когда вырос.

— Я же говорю, что помню их, они жили как раз напротив нашей двухэтажной школы. Помните, где? — Зина Сергеевна кивнула. — Их двор насквозь просматривался из окон коридора, и на каждой переменке я наблюдала все, что там происходило. Поэтому и Зяму этого помню — толстого коротышку с кривыми ногами, ниже ее ростом. Только я думала, что он ее законный муж. И как такой тетке можно было поверить…

— Тогда многие доверяли друг другу, — вздохнула Зина. — Мы только-только вышли из большой войны, всеобщей страшной беды, которую и осилили благодаря доверию и сплоченности. И в нас еще оставалась инерция этого отношения к миру. Вот Вера и поплатилась за это.

— Интересно, у той слюнявой потаскухи хоть когда-нибудь шевельнулась совесть, что своими амурами с залетными бахурами она обрекла четырех мальчиков на голодную смерть, что по ее вине они стали круглыми сиротами? — свой вопрос я адресовала маме, слушающей нас молча.

Мама долго работала в одном коллективе с Еленой Рафаэлевной и знала ее хорошо.

— Вряд ли, — ответила мама. — Когда у самой жизнь не ладится, то трудно жалеть других.

— А от кого у нее был сын?

— Сын у нее родился во время оккупации, — мама смутилась… — От кого она его нажила, если тут были одни немцы и если она гуляла с ними, пила, куражилась… Моя бабушка, повитуха, принимала у нее роды. И как увидела, что родился неполноценный младенец, так и сказала, что это Бог ее наказал.

— Прямой так и сказала? — спросила я. — Это же нарушение всяких повитушных правил.

— Не ей сказала, а мне, — ответила мама.

— Кстати, куда они все потом подевались? Ведь она была еще не такой старой, чтобы умереть… А как-то сразу их не стало.

— Сына она назвала Давидом, Додой.

— Да-да, — вспомнила я. — Точно! Так это не кличка была?

— Так вот этот Дода, — продолжала мама, — сначала

получил срок за ограбление киоска. Отсидел недолго, вышел. А потом ограбил нашу сельповскую кассу. За это получил чуть больший срок и из тюрьмы не вышел, убили его уголовники. Елена Патрикеевна, как мы ее называли, — мама улыбнулась, смущаясь, что и в их кругу пользовались кличками, — хоронила его не здесь, а у себя на родине, в Тернополе. Скоро и сама туда уехала жить. Ты уже к тому времени школу окончила и уехала из села.

— Ясно, — произнесла я.

— Я тоже думаю, что Елена Рафаэлевна ничуть не жалела Веру. Ведь теперь-то понятно, что недостачу ей она сама подстроила, — грустно покачала головой наша гостья. — А мальчиков, слава Богу, мы с мамой сохранили. Да и семья Артемовых помогала. Возвратилась Вера в 1952 году. Юра тогда только-только отгулял второй отпуск и поехал служить дальше, — продолжала Зина. — Так вот о том, как он знакомил Нину с нами.

— Да, именно, а то мы уклонились.

Зинаида Сергеевна кивнула головой.

— Пока Веры не было дома, стены ее хаты отсырели, мыши понаделали там дыр, крыша прогнила. Юра, приезжая в отпуск, старался что-то ремонтировать, но, бывало, все деньги истратит, а работы не видно. Так и получилось, что в 1953 году, когда приводил Нину на смотрины, он и сам с Верой впервые увиделся после ее возвращения. Куда же было вести невесту, когда в родительской хате еще углы не обогрелись?

— Моряки в те годы получали большие деньги. Юра не помогал маме восстановить хату? — спрашиваю.

— Помогал, конечно. Он же еще дважды приезжал — в 1954-м году и в 1955-м. И деньги высылал круглогодично. Что вы, если бы не он, Вера не сохранила бы свое жилье. А так благодаря Юре хата позже пригодилась дедушке и бабушке Артемовым — они приехали сюда и доживали в ней век. Все говорили, что сын выстроил, а внук сохранил им пристанище на старость.

Юра готовил родительский дом для себя с Ниной, может, думал, что придется в нем жить. В последний приезд закончил капитальный ремонт, начатый еще в 1953 году, когда мама возвратилась домой. Своими руками все делал. Внешние стены обложил кирпичом, чтобы не морочиться с мазкой, сменил оконные рамы, сделал новую входную дверь, обновил кровлю, обнес усадьбу штакетником и все покрасил. На то время это был дорогой ремонт.

— А на это — еще дороже, — сказала напоследок Зинаида Сергеевна.

Слушая ее рассказ, я думала, как тяжело складывалась жизнь этих двух людей: матери, которая не благословила сына на счастливую военную службу и укорялась, что потеряла его, а потом и сама пошла следом; и сына, который, оставшись круглым сиротой в шестнадцать лет, своим разумением тянулся к знаниям, к честной работе, но был раздавлен тотальным бездушием, предательством и проглочен пучиной моря.

Какое трагическое переплетение судеб…

* * *

Зинаида Сергеевна неохотно говорит о своем детстве. Но я хотела знать, в какой атмосфере рос и формировался Юра, чем питалась его душа, поэтому попросила поделиться воспоминаниями.

— Мой отец, сколько знала его, очень болел — надсадно кашлял, тяжело дышал, температурил. Имел устаревший туберкулез. Он постепенно терял силы, и мы, малыши, присматривали за ним, готовили еду, кормили. Приходилось все делать тщательно, гигиенично, чтобы обезопаситься самим от болезни. Истощал уход за его посудой, постоянные вываривания, прожаривания, утюжка его постели и одежды. Ведь мама шла на работу с восходом солнца и возвращалась к ночи, — начала она новый рассказ.

На девичьих Зининых руках, кроме больного отца, находилось еще четверо племянников, друг друга меньше. Брат Володя, несмотря на то что был подростком, помогал Марии Иосифовне работать в колхозе.

— Очень надоела мне такая жизнь, вымотала, и я мечтала остаться старой девой, не выходить замуж, чтобы не иметь детей, — сознавалась Зина, вздыхая. — Даже хотелось жить вдали от стариков, которые имеют привычку болеть. И на счет мужчин невесело размышляла, что они — хлипкие создания, только и способные усложнять жизнь нормальным людям. Да еще и детей на свет пускать, спросить бы зачем. И ведь ничего другого кроме собственного опыта во мне не говорило: нам не выпадало радоваться мужьям, все они рано ушли от нас: мама овдовела в 50 лет, Вера — в 29.

Отец умер, когда Зине исполнилось двенадцать лет. Где его похоронили, как — она помнит плохо, так как в этих церемониях не участвовала, ей пришлось оставаться при детях. Кажется, это длилось не короче вечности. На самом деле прошел всего год, и она тоже пошла работать в колхоз, переложив домашние дела на

Юрика.

— И он, бедненький, успевал все делать, не шалил. Еще и нам, когда возвращались с работы, ставил на стол сяк-так приготовленную картофельную похлебку. Думается иногда, если бы он был каким-нибудь озорником, то не так тосковалось бы по нему, не так жалко бы его было.

— А каким Юра был в отрочестве?

— Как взрослый он был, особенно ростом. За что ни брался — доводил до конца. А вообще по натуре… ласковым был, как котенок, тихим, очень послушным. И пел хорошо, позже научился играть на гитаре. Ой, как мы любили его слушать! Особенно летними вечерами. Мы заканчивали дневные заботы, умывались на ночь нагретой на солнце водой, ужинали, а потом усаживались на завалинке и пели или вспоминали свои сны. Ему каждую ночь были длинные и запутанные видения, целые истории. Он их помнил и любил рассказывать. И наши выслушивал. А уж разгадывать их, так ему равных не было. И его воспринимали всерьез — соседи часто наведывались, чтобы он растолковал сон.

— И что, его толкования исполнялись? — спрашиваю, ибо кто же не интересуется тем, что лежит за пределами видимых законов природы.

— Вы знаете, исполнялись! — словно с вызовом сказала Зина Сергеевна. — Помню, мне приснилось, что я собираю полевые цветы и дарю Наде Терещенко, своей подруге. А она, такая серьезная, задумчивая, берет их у меня и не благодарит. Тут, где ни возьмись, — зеркало. Я посмотрела в него, а у меня коса на голове длинная-длинная, какой на самом деле никогда не было. Необычный сон, запоминающийся. Проснулась я наутро и подумала: «Что же меня ждет?» И вот ближайшим вечером сидели мы своей обычной компанией, балагурили, петь уже нельзя было — соседи спать поукладывались. И я вспомнила тот сон. Юра выслушал и говорит: «Скоро твоя подруга замуж выйдет. Готовиться к этому будет серьезно, основательно, а ты еще долго будешь гулять». Так и произошло — спустя неделю Надя пригласила меня на свадьбу, а я аж в двадцать семь лет замуж вышла.

Слушая, я думала о том, что сделать такое предсказание, наверное, было не сложно, но промолчала — нельзя снимать с легенд законно принадлежащий им ореол загадочности и многозначительности

— Вообще, Юра был выдумщиком, — между тем продолжала Зина Сергеевна. — Например, он придумал прозвище деду Вернигоре.

— Какое?

— Какое? — женщина улыбнулась, наклонила голову. Затем продолжила: — Мы ведь из простых крестьян, поэтому наша семья была украиноговорящей, а дед Вернигора до революции служил при барине, где говорили по-русски. Поэтому и в дальнейшей жизни он предпочитал русскую речь, употреблял русские слова. Когда-то Юра услышал от него слово «гусёнок». Вроде простое, да? Однако его чем-то удивило. «А что это такое?» — спросил он. «Это по-вашему „гусенятко“», — ответил дед. Вот Юра его Гусёнком и прозвал. Вскоре Илью Григорьевича уже весь Славгород так величал. Но за прозвища на Юру не обижались. Меня он называл Козой.

— Да, давать прозвища у нас любили, — сказала я почти с тоской по прежним временам. — Кстати, это показатель достаточно благополучной жизни. Прозвища возникают исключительно в тесных дружных коллективах. А почему вы именно Коза?

— Юра учился читать. И вот ему попалось длинное предложение, которое он никак не мог собрать вместе. Я ему помогла, с того времени и пошло. А предложение было такое: «Зина дала козе сена, а коза Зине — молока».

— Закрепилось за вами это прозвище? — спрашиваю.

— Только в семье, а по селу не пошло, — сказала Зинаида Сергеевна и махнула рукой. — Ему можно было все простить, — и ее лицо осветила улыбка неугасимой любви. — Он был такой домашний, такой… Вот, например, пригреет солнышко, появятся первые ягоды, и он уже соберет нам с Верой шелковицы, на самых высоких веточках ее найдет и достанет. Сам не съест.

* * *

А потом была война…

Гитлеровские войска подошли к Славгороду в конце сентября 1941 года. На несколько дней поселок превратился в линию фронта — здесь шли отчаянные, ожесточенные бои. Но 3-го октября советские войска вынуждены были отступить. Славгород оказался в оккупации, которая продлилась немногим больше двух лет.

Известно, что секретными службами гитлеровской Германии на временно оккупированной советской территории создана была невыносимая обстановка, в которой погоду диктовала разветвленная сеть карательных органов. В частности, против советских патриотов действовали подразделения абвера и резидентура контрразведывательного органа «зондерштаб

Россия», отделы войсковой разведки и группы фронтовою гестапо — тайной полевой полиции, особые команды полиции безопасности и СД, отряды полевой жандармерии и другие. Основными формами «деятельности» всех этих головорезов являлись шпионаж, диверсии и террор.

В силу этого за время оккупации немцы расстреляли сто восемнадцать человек мирных жителей Славгорода, вменив им в вину мелкие прегрешения. Когда же наши войска начали гнать захватчиков на запад, в их логово, немцы снова отыгрались на мирном населении: восьмого марта 1943 года учинили массовый расстрел, на котором полегли еще сто пятьдесят семь мужчин возрастом от шестнадцати до девяносто лет и одна женщина (моя бабушка).

> Плачь, земля моя, плачь…
>
> И не носи на лике своем фашистов проклятых, врагов человеческих. Расступись и поглоти их в ад, в пламень незатухающий, в смолу и смрад серы. Пусть до скончания времен неустанно корчатся там — безымянные, забытые и проклятые!

Зинаида Сергеевна Ивановская, тетя Юрия Артемова

Кому на расстреле удалось уцелеть, тех, словно попали они в руки диких золотоордынцев, силой погнали в рабство. Брали, конечно, молодежь, везли в товарных вагонах, набитых так, что людям ни сесть, ни лечь негде было.

— Вывезли из Славгорода одну группу молодежи, другу, третью… Меня не трогают, — рассказывала Зинаида Сергеевна. — Я из дома не выходила, людям на глаза не показывалась, может, думаю, забудут. Где там!

Попала Зина Ивановская аж в последнюю группу пленных, насчитывающую двадцать человек. Среди них были две девушки с нашей улицы, — Мария Дмитриевна Суханова и Екатерина Николаевна Изотова, а также другие девушки, которых я знала после их возвращения домой, — Зинаида Петровна Тищенко, Ольга Ильинична Вернигора (дочь Ильи Григорьевича Вернигоры), Вера Анисимовна Масенко, Петр Яковлевич Бараненко (мой дядя), Зинаида Тимофеевна Ермак (двоюродная сестра моей мамы), Екатерина Ивановна Ермак, Нина Максимовна Биленко (в браке Тищенко, после замужества ставшая нашей соседкой), Надежда Дмитриевна Демченко и другие. Их отправляли 25 мая 1943 года. Всего же из Славгорода попали в немецкой рабство сто шестьдесят восемь человек.

— До самой Польши нас не выпускали из вагонов, боялись, что убежим, — рассказывает Зинаида Сергеевна. — Так бы оно и было, потому что мы чувствовали приближение наших и только ждали удобного случая. А когда пересекли бывшие наши границы, то начали выпускать. Но как? Ты присядешь, а немец стоит над тобой и держит за плечи.

— А кормили вас чем? — спрашиваю.

— Ничем, мы питались тем, что взяли из дому. Каждому родные что-то в сумку положили. Мне в дорогу испекли кукурузный торт. Это был деликатес. Только его надо съедать свежим. А я не съела, берегла на худшие времена, и он у меня зачерствел и раскрошился. Я крошки высыпала и дальше ехала голодная. Аж в Познани каждому пленнику дали кусок хлеба, смазанного томатной пастой. А потом группу привезли в Ганновер и определили на каторжные работы. Я попала в прессовочный цех самолетостроительной фабрики «Лейхметаллберке». Меня поставили к фрезерному станку.

— Без обучения?

— Показали один раз, а мы же люди понятливые. Это были маленькие станки, на которых мы стачивали трещинки на изношенных деталях самолетов. От сверхчеловеческого напряжения уставало зрение. Во-первых, никто не проявлял заботу о хорошем для нас освещении, а во-вторых, мы работали хоть и в одну смену, но продолжающуюся двенадцать часов: с пяти часов утра до пяти часов вечера. И то нам еще повезло, а в прокатных цехах работали в две смены. Это вообще ужас!

Жилы пленные в бараках, по двадцать человек в каждом, спали на двухъярусных нарах. Всего в лагере, куда попала моя собеседница, удерживали шестьсот человек. Условия ужасные: туалет и моечная, кухня и столовая находились под одной крышей. Собственное это был погреб, где стоял полумрак, и есть

приходилось наощупь.

Сначала их кормили дважды в день: в полдень и после работы. В полдень давали баланду, а вечером что-то такое, что можно положить на хлеб. Хлеб выдавали раз в сутки — одну буханку на четыре человека. Делили его между собой сами.

— Изводило постоянное недоедание. Если бы сейчас предложили охарактеризовать одним словом то, как нам жилось у немцев, то я сказала бы: голодно. Очень страдали мальчишки, подростки. Им ведь еще надо было расти, развиваться. А с чего?

Славгородцев освободили 10 апреля 1945 года американские войска. Еще некоторое время разбирались кто и откуда, так что домой Зина возвратилась через пять месяцев после освобождения — 31 августа.

* * *

Собираясь в седьмой класс, Юра еще (или уже!) оставался хозяином на два двора — мамин и бабушкин. Но это было не самое тяжкое бремя. Труднее было нести моральные тяготы взрослого человека. Он понимал ответственность перед братьями, которые брали от него все, даже походку и другие привычки, вот и воспитывал их как мог.

За время, пока Зины не было дома, мальчишка вытянулся, гибкое тело набрало законченных форм и правильных пропорций, лицо возмужало, приобрело взрослое выражение. Детская стыдливость сменилась многозначительной неразговорчивостью, признанием в себе силы и уверенности, чего не хватало измотанным войной и тяжелой вдовьей жизнью окружающим его женщинам.

— Юра рано осознал свою внешнюю привлекательность, поэтому заботливо ухаживал за собой, — с улыбкой вспоминает о нем Зинаида Сергеевна. — Никому не доверял стирать или утюжить свои вещи, сам себя в меру сил обшивал. Вообще хозяйскую работу в основном делал он, а еще детей нянчил, ведь взрослые работали, будто дома и не жили. Он учил мальчиков читать, писать, рисовал с ними, лепил из глины, пел. Александр на всю жизнь запомнил его уроки музыки, и, видите, благодаря ему имеет под старость лишнюю копейку (Александр играл в духовом оркестре, который часто приглашали на торжественные мероприятия, а также на похороны, где хорошо платили). Но что меня больше всего поражало, так это то, что в нем не было заносчивости, мужской спеси. Знаете, как бывает у ребят? Не успеет он почувствовать в себе силу, как начинает бегать за

женщинами, искать приключений. В Юре этого не было. Он жил своим умом, был рассудительным, спокойным, серьезным на вид, будто ему было известно то, чего не знали другие. Даже иногда казалось, что он воспитывался не здесь, вообще не среди людей, а где-то выше. Неизвестно, где оно в нем бралось, — Зинаида Сергеевна помолчала с просветленным лицом, а я тем временем из ее слов поняла, что Юра вырастал в идеального мужчину: был в меру домашним, способным к любой работе, самостоятельным, умел заботиться о младших и слабых, при этом рос красивым, утонченным во вкусах и привычках.

— Нам, послевоенным девушкам, выйти замуж вообще было не так-то просто — ребят и молодых мужчин выкосила война. Это вырастало в проблему, — продолжала рассказывать Зина. — А найти пару хотелось.

Она не сказала, но я по рассказам других старших людей знала еще об одном — что проблема замужества особенно угнетала девушек, побывавших в немецком рабстве. Причин находилось много: с одной стороны, эти девушки устали от работы и от страданий, разуверились в людях, а с другой стороны, и к ним предубежденно относились те, кто оставался дома и полагал, что в плен девушек брали не для работы, а для развлечений.

— Понимаю, — сказала я после паузы, — не учитывали, что и Германии приходилось туго, что она была разрушенной и ей тоже надо было восстанавливаться.

— Наверное, и это было. Но я другое хочу сказать, — Зина потупила взор. — Я любила Юру, очень любила. Как любят того, кем любуются, гордятся и возле кого живется надежно и уютно, возле кого ощущается уверенность и покой. Юра создавал нам, женщинам своей семьи, именно такие ощущения. От него исходила всевластная благородная мужественность. Он был моим кумиром и образцом. И я ни за что не хотела иметь мужем кого-то, не равного ему. Понимаете теперь? А где было такого взять?

Но, несмотря на сказанное, Зина ответила взаимностью на пылкую любовь к ней Владимира Макаровича Галушки с хутора Аграфеновка. Мы его называли Рожновой, видимо, по первому хозяину, основателю. Так вот Зина и этот Владимир долго встречались, а потом решили пожениться. И здесь помехой стала Мария Иосифовна, Зинина мама.

— Ни за что! На Рожновой все мужики — зарезаки.

И не пустила.

В самом деле, накануне описываемых событий на том хуторе зарезали женщину, жившую уединенно в маленькой хатенке-времянке, стоящей поодаль от остального поселения. Собственно,

там все хаты стояли обособленно, потому что хутор представлял собой одну улицу, протянувшуюся параллельно Осокоревке по ее запорожскому берегу. Фамилия погибшей — Брагина. Теперь о ней давным-давно забыли. А тогда этот случай был еще памятен, пугал людей, потому что виновника не нашли. Вот славгородцы и считали всех рожновцев зарезаками, бандитами.

— Мама так сердилась, так кричала на меня, даже била чугунной конфоркой по столу. Как я могла ослушаться, прибавлять ей горя после всего пережитого? — сказала Зинаида Сергеевна. — Конечно, я отказалась от Владимира.

После этого Зина долго перебирала женихами, и не только потому, что искала похожего на Юру, что была высокого мнения о себе — просто хотелось настоящей любви, сладкого волнения сердца, а оно почему-то не приходило. А потом поумнела и начала по-иному смотреть на мир, мерить людей другими мерками. В чем-то те мерки стали строже, требовательнее, а в другом — снисходительнее, проще. Она уже не рисовала в воображении такого красавца, каким был Юра, с которым сравнивала претендентов на ее руку. Ей открылась скромная, не яркая, но чистая душа Николая Александровича Таганова, работящего и любящего человека. Он не надоедал ей своими чувствами, как другие, а терпеливо ждал, что она оценит его выдержку и преданность, в конце концов станет взрослой, уравновешенной и здравомыслящей женщиной.

Так и получилось, что Зина вышла замуж поздно, аж в 1953 году. С Николаем Александровичем они родили и воспитали дочь Анну (родилась первого сентября 1954 года) и сына Юрия (родился 26 февраля 1957 года).

* * *

Вспоминается начало, сбор сведений о Юре, первый приход к Зинаиде Сергеевне со своей мамой, когда мы не застали ее дома…

Потом мы встречались неоднократно, но уже у нас. И вот, наконец, я попала в Зинин двор. Теперь пришла с сестрой. На наш голос, поданный от калитки, как принято в селе, из дома вышел незнакомый пожилой мужчина в засаленной одежде, сердитый с виду. Мы поняли, что это Василий Степанович Сиромаха, второй муж хозяйки дома.

— Ну? — спросил немногословно и мрачно, хотя смотрел без враждебности — ему просто кто-то испортил настроение.

— Здесь живет Зинаида Сергеевна Ивановская? — сказала я

стандартную фразу.

— Здесь, но она давно уже не Ивановская. А что?

— Мы пришли к ней, надо поговорить.

— У нее газовщик. Голову там морочит, денег хочет.

— А к газовщику вы пойдите, — поняв ситуацию, сказала я.

— Да я уже с ним поругался!

— Ну вот тебе! Так идите мириться. А нам Зинаиду Сергеевну позовите, — и я сказала ему о цели визита.

Газовщик, услышав разговор о столь серьезном деле, как гибель линкора, быстренько вспомнил о совести, распрощался и ушел восвояси.

Кстати, касаемо Зины надо было в самом начале сказать вот что: внешне я ее хорошо помнила сызмалу, часто встречала на улицах села, еще когда ходила в школу. Всегда замечала и любовалась ею, выделяя среди других славгородских красавиц как самую утонченную. Эта женщина была высокого роста, как и все Ивановские, стройная, с пышными туго вьющимися волосами, с какой-то особой женской красотой и приятной, как у Александра, какой-то снисходительно-печальной улыбкой.

Мы уселись под хатой, куда доставала тень густого яблоневого сада, кольцом обнимающего небольшой нарядный дворик. В углу сада, прячась под его наклонившимися кронами, стояла живописная будочка для летних ночевок.

— А вы знаете, Юра предчувствовал свою смерть, — вдруг сказала Зина, даже не подозревая, что сообщает весьма интересные сведения, словно молнией осветившие мне мое собственное далекое детство.

Ведь я уже знала об этом со слов Оли Столпаковой, услышанных в свои девять лет и хранимых в памяти совершенно нетронутыми, не потревоженными никакими попытками передать их другим людям, в законсервированном виде. И помнила портрет в черной раме, висевший в их доме, и о последнем Юрином письме к Нине, написанном 19 октября 1955 года. Но помнила это как нечто витающее вокруг моей собственной души, ненужное остальным, не востребованное ими, что остается только со мной. Так помнят подобранного и где-то в гаражах-сараях втайне выхоженного котенка, пристроенного затем у чужих людей, первые стихи, первые открытки от мальчиков, первую падающую звезду. Так помнят то, чего по сути не существовало, а только было оно прочувствованно душой, как помнят пригрезившееся, возможно выдуманное — если не тобой, так другими. Ну кому из взрослых кажутся важными эти призраки детства?

И вдруг слышу такое от Зины, слышу сейчас, сегодня —

спустя полстолетия! Оказывается, это не просто было сказано-рассказано мне летним днем в минуты досуга, но реально существовало и пропахало людские судьбы, оно важно и памятно для многих, оно значительно. Все, что я знала, — происходило всерьез. Это судьбоносно даже для истории моей страны!

— Откуда вы знаете? — спросила я, кое-как свыкаясь с бурей ошеломлений в мыслях и сердце.

— Из его письма.

Ну конечно, именно так и рассказывала Оля! И еще было письмо Нине о сне, вещем сне!

— И… это письмо… Оно у вас сохранилось? — мой голос слегка охрип от волнения.

— Нет, я его сожгла.

— Зачем?!

— Ну… я это сделала не сразу, хотя об этом просил сам Юра.

— Зачем? — еще раз спросила я.

— Видимо, хотел избежать возможных насмешек, когда вернется домой живым-здоровым. Я так себе объяснила. Да я бы все равно сохранила его! Но… позже испугалась атмосферы секретности вокруг линкора… Понимаете? Нас ведь просили не болтать…

— Жаль…

— Теперь понимаю, что и Юра опасался чего-то тайного… — Зина чувствовала себя несчастной, вот трусиха — взяла и уничтожила такой важный документ… — Да вы не думайте, я его наизусть помню! — и Зина, прикрыв глаза рукой, продекламировала: — «… а еще мне был сон, будто я попал в яму, где сидела Нинина мама. Попробовал выбраться, но не смог, так и остался в яме. Зина, подготовь ко всему, чтобы ни случилось, маму. Обо мне не думай».

— Откуда это у него, Господи милосердный…

— Он смалу был такой, — выводит меня из потрясения Зина. — Когда-то, помню, в воскресенье мы с Верой решили пойти на ставок искупаться. Собрались капитально: взяли мыло, полотенца, свежую одежду. У нас ведь бань не было, — поясняет для меня Зина. — Летом мы часто в ставке мылись.

— Да, я помню.

— Ну вот. А тут Юра увидел наши сборы. И как прицепился, чтобы мы не ходили туда, ну хотя плач. «Почему?» — спросила у него Вера. А он отвечает, что, дескать, там будет много воды. «Так то же ставок, он весь из воды!» — прикрикнула на него Вера, чтобы не выдумывал и не морочил голову. Мы, конечно, не послушались его. «Идите, идите, но хоть не купайтесь», — бросил он нам вдогонку.

— И что же случилось?

— Что делать? — продолжала Зина, не обратив на меня внимания. Она рассказывала, мастерски передавая диалоги в интонациях действующих лиц. — Купаться мы не стали, а сидели и смотрели на других, просто отдыхали. Вдруг к нам донеслись тревожные крики, шум-гам. Все купальщики начали бежать в одно место — к плотине. Оказывается, мальчик утонул. Здесь недалеко жила семья железнодорожников, они обходчиками работали, так вот это был их сын. Какое уж там купание? Мы с сестрой летели оттуда домой, как ошпаренные.

— А Юра что?

— Ничего. Сказал, чтобы впредь слушались его, так как это мог бы быть кто-то из нас, — Зина нахмурилась, помолчала. — Да что там в жизни?! Вот он уже и мертвый давно, а в снах нам советы подает, подсказывает. Теперь, правда, реже, а поначалу почти еженощно снился. И что ни скажет, то сбудется. Верите?

Верила ли я? Я не знала, что ответить. Муж моей сестры — близкий человек, которого я хорошо знала, — тоже трагически погиб 2 сентября 1999 года. А перед этим сказал нам, что ему был сон и он скоро умрет. Молодой и здоровый, не суеверный, оптимист, на веру никакой галиматьи не брал, а вот проснулся и сказал такое. А оно и сбылось.

Так же было и со Светой Светловой, школьной подругой моей сестры. О ней знают в Славгороде почти все. Еще в детстве цыганка нагадала ей смерть от воды. И что? Как ни берегли ее родители, а все равно утонула. Это случилось в туристическом походе, при переходе через мелкий горный ручей, в котором воды было по косточки. Споткнулась, упала и захлебнулась.

Моей двоюродной тетке, Надежде Григорьевне Бараненко, какая-то гадалка сказала, что она умрет от безответной любви. Так и произошло — повесилась, когда Гриша Кобзарь бросил ее, узнав о беременности.

Как понять? Выход из болезни предусмотреть можно, из сложной ситуации — тоже. Можно заснуть и решить задачу, т. е. можно во сне воспользоваться намеком подсознания, найти то, над чем долго и напряженно размышляешь. А как быть с непредусмотренными случаями, которые от тебя не зависят, если ты не играешь в их развитии никакой роли, а попадаешь под косу смерти? Это оставалось без моего понимания.

Я спросила о поездке в Севастополь — кто ездил, когда.

— Мы ездили: я, Вера и наша мама. А было это 18 мая 1956 года, — а дальше Зинаида Сергеевна рассказывала так, словно это было не с нею, отвлеченно…

Стояла погожая весна, изобиловал молодой зеленью май,

цвели сады. Возле моря, непривычно ароматного, резко пахло цветами с гор, выстиранными облаками и свежестью небесной высоты, еще чем-то непонятным.

Из окна инкерманской квартиры Марии Аврамовны Кириченко, у которой остановились родственники Юрия Артемова, виднелся, почти закрывая горизонт, холм, на котором разместилось кладбище «новороссийцев». Оно звало их. И они сразу после приезда отправились туда, только сумки оставили дома.

Здесь ли Юра, в этой ли земле нашел вечный покой? Этого они не знали, как и по сей день не знают — утонул он или умер от травм. Были настолько убиты горем и растеряны, что даже не подумали пробиться к высшему флотскому начальству, как делали другие, и хоть о чем-то расспросить. Но что бы им ответили, что бы показали — поверхность моря, рябь, волны, ветер над волнами? Только спустя год линкор подняли наверх и перевернутым отбуксировали в Казачью бухту. Там сняли оружие и порезали на металлолом. Кто остался внутри корабля и что содеялось с их останками — неизвестно. А тогда на дне Северной бухты еще только проводили подготовительные работы и в ходе этого иногда поднимали тела, узнать которые уже было нельзя, разве что по особым приметам или деталями одежды. Да и то…

Побыли они на кладбище, между могилами походили, много плакали, читали надписи, еще самодельные, явно оставленные родными погибших. А сами ничего о Юре не знали…

Дома Мария Аврамовна приготовила ужин, чтобы помянуть Юру, которого тоже любила и оплакивала. Женщины засиделись, заговорились. Вот тогда и наслушались Вера Сергеевна рассказов о том ужасе, какой пережил весь Севастополь в связи со взрывом флагмана. Если уж для посторонних эта трагедия была такой страшной, то какой же она оказалась для него, для ее Юры?

— Сыночек, дитятко мое несчастное, крошка моя, за что?.. — плакала и причитала она в течение вечера. Но она так устала от горя, что голос ее едва шелестел, в нем уже не было ни вопросов, ни укора, лишь тяжелые горевания.

А ночью она разбудила Зину, свою сестру:

— Вставай, пошли, меня Юра зовет!

— Ты что? — Зина увидела белые бессмысленные глаза и сразу поняла, что перечить нельзя: — Пойдем, не волнуйся, только позже. Рано еще, темно на улице.

— Сон мне был, сон! Юра зовет, — настаивала бедная женщина.

— Расскажи свой сон, садись, — Зина подвинулась и освободила место на постели.

Вера Сергеевна послушно села, вроде чуть успокоилась, заговорила.

— Не знаю, что было, только вдруг вижу Юру, таким каким провожала в последний раз из дому. Он машет мне рукой от этого кладбища и говорит: «Мама, просыпайся, иди посмотри, как меня будут хоронить сегодня».

— И все? — переспросила Зина.

— Все. Пошли, — снова начала настаивать Вера Сергеевна. — Я не больная, не в бреду, не бойся. Я верю, что там сейчас будут хоронить моего сына.

Они тихонько выскользнули из квартиры и выскочили на улицу. На восточном краю небо начинало сереть, звезды уже погасли, море дышало непрогретой влагой, промозглостью. Стояла тишина, в которую тихо и бесконечно печально вплетались звуки траурной музыки. Они в самом деле доносились со стороны кладбища. Сомнений не оставалось — там происходит захоронение. Женщины ускорили шаг, затем побежали. Вчера казалось, что кладбище находится рядом, а как пришлось бежать, так оно будто удалялось от них.

Прибежали с последними залпами салюта. Экскаватор начал загребать ров, и большие комья земли звонко били о крышки гробов. Вера Сергеевна отчаянно оглянулась на сестру, затем в стороне, на целинной лужайке, увидела полевые цветы и с лихорадочной поспешностью нарвала их, не разбираясь, что цветет, главное — это была новая жизнь, такая же молодая, как и у ее сына. Она бросила в ров три горсти земли, трижды перекрестилась, что-то шепча, а потом рассыпала вдоль рва собранные цветы. Зина успела повторить за ней нехитрый ритуал прощания с покойниками, а потом почему-то начала считать гробы, стоящие в два яруса. Она сосредоточенно тыкала в них пальцами, стараясь не ошибиться, и на замечала, что на нее обратили внимание. Насчитала их двадцать восемь штук, еще не засыпанных землей.

На кладбище, кроме моряков в черной форме с траурными повязками, никого не было. Значит, опять хоронили тайно.

— Вы кто такие? — подойдя к ним, спросил офицер, руководивший церемонией.

— Артемова Юрия Алексеевича мы… родственники, мама его тут, — скомкано ответила Зина, потому что именно ей адресовался вопрос.

— Вон оно что. Когда же вам успели сообщить?

— Сообщить? — встрепенулась Вера Сергеевна и бросилась ближе к офицеру. — Что сообщить? Разве родственникам сообщали?

— Нет, но… вы же здесь. Как вы здесь оказались?

— Мы здесь случайно, вчера приехали. Почему вы спрашиваете?

— Чудеса! Какое совпадение… — офицер побледнел. Он казался потрясенным, ибо непроизвольно провел рукой вдоль лба, словно снимал оттуда паутину.

— Вы знали Юру? Он… где он сейчас? — спросила, сбиваясь, Зина.

— Нет, не знал. Просто у меня есть списки, — офицер, ударил пальцем по своим бумагам, взглянул на Зину. — Чудеса… — повторил еще раз. — Тридцать три черноморца положили мы сюда сегодня. И ваш Юрий здесь, вот его гроб, — он показал рукой, — крайний слева в нижнем ряду.

— Почему в нижнем? Опять в нижнем. Ему же тяжело… — простонала Вера Сергеевна.

— Алфавит, — сказал офицер и пожал плечом. — Юрий Артемов стоит первым в списке. — Он отдал им честь, отошел, затем возвратился, прибавил: — Простите нас, мама, и живите долго.

— Первым… — как эхо повторила Вера Сергеевна.

Моряки ушли с кладбища не сразу, еще некоторое время стояли над новым холмом, отдавая дань памяти погибшим той самой немотой, в которую те ушли навеки, мысленно разделяя с ними их безмолвие. И женщины стояли возле них, как окаменелые. Вера Сергеевна не могла ни сдвинуться с места, ни что-то сказать. Только стонала.

Возвратившись домой, сестры нашли Марию Иосифовну во дворе. Она сидела на скамейке с узлами и сумками в руках.

— Недаром Бог привел нас сюда, — уже примирившись с потерей, обыденно и по-деловому сказала она, как говорят о своевременно и хорошо улаженном деле. — Поехали теперь.

Вера Сергеевна смирения не приняла. Ее душа упрекала злую судьбу, бунтовала и не прощала Богу жестокой жертвы, которую у нее вырвали, выдрали, выломили вместе с жизнью. Ее крамола продолжалась еще девять лет, девять лет и зим она встретила без Юры. И больше не выдержала этого истязания, отошла к сыну в 1964 году, имея всего пятьдесят три года за плечами.

А Юриной бабушки не стало в 1981 году, она на двадцать шесть лет пережила своего первого внука, до последнего дня помнила его, тосковала по нему и в ее горнице возле Юриной фотографии всегда горела лампадка.

На момент написания этой книги Зинаида Сергеевна еще была жива и здорова. Но в течение года после выхода книги в свет потеряла мужа, своего Василия Степановича, а до

настоящего переиздания и сама не дожила.

Вечная память героическому поколению наших отцов и дедов!

* * *

Но продолжим свое повествование.

— После этого я начала верить, что Бог есть, — продолжала вспоминать Зина. — Конечно! Иначе почему мы приехали в Севастополь именно семнадцатого мая, почему на следующий день еще оставались там? Почему сестре приснился Юра с этими словами? Как это объяснить? — Спрашивала она, будто требуя моего ответа.

— Чудеса, просто мистика… — другого я не могла сказать, не находила.

— Вот. И я так считаю, — сказала Зина. — На Юриной могиле я поклялась, что рожу сына и назову его Юрием. Так и сделала, — и она, наконец, улыбнулась. — В 1957 году родила Юрия.

Во второй раз Зина побывала на могиле племянника, когда на Черноморском флоте служил ее сын — Юрий Николаевич Таганов, которому суждено было дослужить службу за двоюродного брата, а может, и прожить за него жизнь.

— Как случилось, что ваш Юра попал на Черноморский флот? Вы добивались этого?

— Представьте себе, нет. Опять-таки — судьба и… его рост. Он высокий, как все в нашем роду, вот его и взяли на море. Сначала попал в Кронштадт, прошел там полугодовое обучение, а затем оказался на Черном море, в Севастополе. Служил на большом противолодочном Гвардейском крейсере «Красный Кавказ».

Зинаида Сергеевна приехала к своему Юре в октябре 1975 года. Обошла все места, связанные со службой сына, издали посмотрела на его крейсер, полюбовалась пейзажами, погуляла в городе. И конечно, они вдвоем посетили кладбище, где захоронен Юрий Артемов. Господи, Юра… незатухающая боль…

— Я все, что знала о племяннике, рассказала сыну, наставляла его, воспитывала достойным памяти Юрия Алексеевича Артемова. На братской могиле уже была плита с именами «новороссийцев», Юрино имя стоит третьим в списке. Раньше это кладбище состояло из четырех длинных братских могил, три из которых располагались параллельно одна другой и имели метров по пятьдесят в длину, а одна, небольшая, стояла отдельно. Теперь три длинные могилы соединили в одну общую,

а маленькая так отдельно и осталась. Но где лежит Юра, я знаю, и сыну показала.

Говорит Зина, что на обычном кладбище того нет, что чувствуешь на кладбище моряков:

— Над ним витает особая атмосфера, чувствуется, что здесь лежат молодые мужчины, и что они имели трагические судьбы. Понимаете? Здесь сердце переполняется не просто грустью, а каким-то острым непреодолимым горем. Это трудно выразить, — подчеркнула она.

Да, ведь традиционно кладбище моряков — это вечный дом именно тех, кто отошел в вечность среди волн, погиб в море. На кладбище моряков не хоронят умерших дома, да еще от старости. И вообще понятие «моряк» и «старость» не совместимы. Если человек покинул море, то он уже не моряк, а переходит в другую категорию, он — бывший моряк. На кладбище погибших моряков особенно четко ощущаешь хрупкость, субтильность человеческой жизни, ее неповторимость. И так же остро чувствуешь молодую решительность, безоглядную дерзость тех, кто, рискуя, совершает мужские дела, делает жизнь. Здесь навечно неиссякаемым стоит дух сопротивления, состязания, преодоления трудностей.

Как нигде, на кладбище моряков чувствуешь, что жизнь — это временное пристанище.

— Жизнь надо ценить, — задумчиво сказала моя собеседница. — Это прекрасная и редкая милость Бога. Если бы люди всегда помнили об этом… — она смотрела на меня выжидающе, а я не знала, что ответить.

Зина дала мне много фотографий, расчувствовалась от воспоминаний, но не плакала — держалась. Наш разговор заканчивался.

— Не волнуйтесь, ваши фотографии не пропадут. Я сниму с них копии и верну вам, — заверила я Зинаиду Сергеевну.

— Я не о том…

— А что вас беспокоит?

— Неужели я доживу до того, чтобы подержать в руках книгу о Юре? — она снова умоляюще заглянула мне в глаза.

— Я… — что-то сдавило мне горло, запекло внутри, качнуло землю под ногами. — Я… очень постараюсь.

Мне удалось преодолеть волнение, и оно вскоре прошло.

* * *

Я снова возвращаюсь к тем трем дням, которые провела летом 1956 года со своей подругой Лидой Столпаковой у нее

дома. Тогда на третий день ее сестра Оля, рассказала нам, что спустя неделю, а может, две после того, как к Нине прибежали в слезах Вера Сергеевна и Зина с известием о гибели Юры, на ее имя пришло письмо из Севастополя.

— Нина находилась в тяжелом душевном состоянии, такое бесследно не проходит. Она не плакала, но молчала и ходила похудевшая аж черная. Мне тоже было очень тяжело, но при Нине я старалась сдерживаться, зато, когда она уходила на работу, давала волю слезам. Боже, как я рыдала в пустой квартире! Мне жалко было и ее, и Юру. Оставаясь наедине со своими терзаниями, я говорила с ним, ибо казалось, что он находится где-то рядом и слышит меня. Я не могла представить, что его совсем-совсем нет на свете, — рассказывала Оля, эта девочка, еще подросток, успевшая узнать так много потерь, что стала рассудительной не по возрасту.

Работники почты, смутно слышавшие плохие вести, от письма, пришедшего с Севастополя, пришли в замешательство и не знали, как лучше вручить его адресату, то есть Нине. Никто не хотел за это браться — кто знает, что в нем. На это решилась Валя Кондра:

— Давайте я отнесу, — предложила она. — Что за люди? — и повела плечом с выражением осуждающего удивления.

Этим письмом кто-то из Юриных друзей сообщал о его последних минутах. Получалось, что в момент трагедии Юра находился на вахте. Взрывом его не зацепило, но под действием ударной волны Юру отбросило в сторону, и он ударился головой об острый угол какого-то устройства. Травма была сильной и Юра потерял сознание. К нему подбежал матрос-санитар, который в особых обстоятельствах должен был посещать всех вахтенных и в случае необходимости оказывать им помощь. Найдя Юру раненым, перевязал ему голову, сделал укол и дал глоток спирта, то есть выполнил штатные действия в аварийной ситуации.

Юра очнулся, но не сразу понял, что произошло. Окончательно пришел в себя от сигнала об аварийной ситуации. Вскоре объявили военную тревогу и передали экипажу сообщение о взрыве на линкоре. Юра оставался на своем посту, был сдержанно-деловым, спокойным и уверенным. Ничто не говорило о том, что он не найдет выхода из сложного положения. Он должен был остаться в живых! Ведь он находился на палубе.

И все, других сведений о Юре нет. Нине писали, что Юра был образцовым моряком и надежным другом. Подписи под письмом не было, видимо, моряки посчитали не обязательным называть свои имена. Что они могли сказать невесте погибшего друга? А может, сообщая письменные подробности о событиях на линкоре,

руководствовались положением о военной тайне.

* * *

Оля читала нам с Лидой многие письма — в частности, последнее от Юры и это, пришедшее от его друзей. Тогда они еще были целы. Оба были написаны на листах из школьной тетрадки в клеточку. Тогда все писали на такой бумаге. Хранились письма в ученической папке, аккуратно переложенные чистыми листами.

Случилось так, что в своей семье именно Оля стала главным хранителем памяти о Юре. Она сделала это ради Нины, чтобы оградить ее от лишних потрясений, чтобы та быстрее справилась с постигшим ее ударом, меньше сталкивалась с напоминанием о бывшем женихе. Оля спасала Нину собой, закрывала своей душой от последствий крушения, произошедшего в ее судьбе.

Нина, по словам младшей сестры, была очень сильным человеком, но и потрясения, выпавшие ей, были слишком тяжелыми, поэтому борьба между ними продолжалась.

— Знаете, терять любимого человека очень тяжело, — объясняла нам тогда Оля. — А если с ним были связаны мечты, надежды на лучшие перемены в твоей жизни, то считайте, что человек умирает вместе с погибшим. На земле остается только его тень, не знающая в какую сторону падать, потому что солнце больше не светит. Так чувствовала себя наша Нина.

После маминой смерти Оля имела опыт потерь и знала, о чем говорила.

— Вот умирает кто-то из родителей, как у нас умерла мама, — объясняла она, видимо, что-то при этом уясняя для себя, — и ты теряешь прошлое, а Нина потеряла будущее.

Этими рассказами Оля словно извинялась перед Юрой за то, что ее боль стала утихать. Мы с Лидой нужны были ей, потому что вместе с нами девушка, возможно в последний раз, тем самым исцеляя себя, переживала потерю юноши, которого по-своему любила, как умеют любить младшие сестры женихов старших сестер.

А нам в ее исповеди открывались живые, а не сказочные герои. Мы теперь сочувствовали не тому, что Золушка потеряла туфельку, и не губительным страстям Джульетты, не абстрактным страданиям «женщины в белом», а горю конкретного человека, не придуманного, а знакомого и земного, живущего рядом с нами, на наших глазах. Мы тогда впервые поняли, что беда может неожиданно произойти с каждым из людей, и они должны быть готовы к тому, чтобы выстоять и победить ее, а не сломаться.

— Это трудно пережить, — делилась Оля своими мыслями. — Не знаю правильно ли делаю, но я советую Нине выходить замуж. К ней сватается хороший парень.

— Кто? — спросила я.

— Василий Бажинов. Ты его не знаешь, он с Тургеневки.

— А что это за человек?

— Простой работяга, шофер.

— А Нина что?

— Молчит. И это меня пугает. Понимаешь, не плачет, все делает, как и раньше, иногда смеется, а только молчит. Страх божий! Вот я и советую.

— А если он не захочет?

— Кто? — Оля, подняв удивленные глаза, перестала чистить картошку, которую собиралась приготовить нам с Лидой на обед.

— Ну, этот… который с Тургеневки? Она же и с ним говорить не будет.

Оля рассмеялась.

— С ним она будет говорить, — сказала уверенно.

Это были моменты откровений, и я тогда многое услышала впервые. Например, впервые поняла, что означает «открыть душу», «сочувствовать», «спасать человека собой».

Именно в тот день, когда Оля пересказала последний акт трагедии с Юрой Артемовым, когда я пропустила через свою душу радость и трагедию Нининой и Юриной любви, когда стала старше на несколько лет, впервые втайне плача от тех рассказов, в этот день моя мама ни о чем таком не догадывалась. Она высекла меня за враки, когда ей стало известно, что я не бываю в школьном кружке, а дни напролет провожу у Столпаковых.

Больше я у Лиды дома не бывала, а те три дня и свои впечатления от Олиных рассказов, крещенные лозиной, запомнила навсегда.

* * *

Нинина судьба явилась в облике Василия Ивановича Бажинова.

Этого юношу она знала еще до встречи с Юрой, до их возникшей любви. Но знала как друга. Они оба участвовали в хоре, организованном в Славгороде Екатериной Никифоровной Богдановой и объединяющем тридцать человек молодежи.

Василий был младшим ребенком в родительской семье, любимчиком, избалованным родителями, старшими братьями и сестрами. Это приятно отразилось на его характере, он был

веселым, беззаботным парнем, простым и добрым. По окончании школы учился на курсах водителей, а когда получил права, пошел шоферить в колхоз. Безотказный трудяга, он вызывал симпатии односельчан, а также тех, кто работал с ним рядом. Его отец Иван Бажинов, тоже заслуженный колхозник, своих детей любил, но держал в строгости. Вот они и выросли добропорядочными, приветливыми, трудолюбивыми людьми.

И вдруг случилась беда — Василий насмерть сбил машиной четырехлетнюю девочку. Не нам теперь разбираться, кто виноват больше, а кто меньше. Несмотря на человеческие попытки всегда найти виноватого, природа не отменила своей страшной выдумки, такой как несчастный случай. Но, с одной стороны, ее за это, сто чертей, не обвинишь, не привлечешь к ответственности, а с другой — нельзя проходить мимо смерти, нельзя, чтобы она оставалась безнаказанной. Девочки не стало, а живые всегда виноваты перед мертвыми.

Как бы там ни было, Василия осудили на десять лет тюремного заключения. То, что произошло, было шоком для жителей села. Как тяжело оплакивать умерших! И не менее тяжело видеть, как хороший человек пропадает в обстоятельства, где признается виновным, и не имеет способа переиначить ситуацию, где хоронится его юность. Это невыносимо.

Василий просил своих друзей и девушек из хора:

— Пишите мне. Без вас я пропаду в тюрьме.

И они писали. Писала и Нина. Рассказывать всегда было о чем. Каждый день приносил перемены, причем, в основном из разряда приятных, что резонировало в лад с ожиданиями людей. Жизнь в Славгороде улучшалась, падали цены на товары массового потребления, росла оплата труда, становился более наполненным трудодень.

Нина в письмах сообщала новости из жизни художественной самодеятельности, о браках и рождения малышей в семьях общих друзей. А то и просто делилась размышлениями. В основе этих писем лежало ее одиночество, замкнутость характера, ведь с теми, кто был рядом, она больше помалкивали. Со временем она привыкла писать эти письма, как люди привыкают вести дневник или записывать дорожные наблюдения. Ей даже не так важно было получить ответ, как выговориться самой.

А потом появился Юра, и поток Нининых писем к Василию уменьшился. Сначала это был естественный ход событий. А потом Нина поняла, что писать ей стало не о чем, но Василий, вероятно, потеряет из-за этого единственную отраду. «Нет, нельзя его оставлять без внимания, без поддержки, — решила Нина. — В нашей переписке о чувствах речи не было, так почему бы не

переписываться дальше?»

Но Василий все понял. И тогда не сдержался, признался в любви. «Я давно тебя люблю, но не решался сказать. А потом случилось это несчастье со мной. Кому я нужен с ним? Думал, отсижу срок и… мы соединимся. И вот ты не пишешь…»

Нина не обращала внимания то, что выходило за пределы их устоявшихся отношений, упорно держала нейтральный тон. Ей это удавалось потому, что она оставалась искренней, не лукавой, доброжелательной, просто не писала о том, что Василия не касалось. Позже он говорил, что весточки от нее хоть и стали реже, зато в них чувствовался сильный заряд жизненной мощи. Это было как раз то, чего ему не хватало, и Нинино настроение, не выраженное в конкретных словах, а разлитое в общем контексте, незаметно передавался ему.

О том, что у Нины появился Юра, Василий узнал из писем других людей и, следуя ей, продолжал держаться дружественно, отстраненно от вопросов сердечных. Один он знал, чего ему стоила эта отстраненность!

Нинино отчаяние, вызванное гибелью Юры, сказалось и на Василии, к которому она привыкла в заочном общении и который умел терпеть и ждать. Ближайшие нам люди страдают не меньше нас, когда нам плохо, потому что мы безжалостно выливаем на них свои печали, врачуя себя. Однажды Василий получил письмо с отчаянными и даже злыми словами. «Не смей писать мне! У меня горе — Юра погиб. Ненавижу!» Это произошло как раз тогда, когда Василий размышлял, к чему прибегнуть, чтобы забыть Нину. Впервые она в письме сказала о Юре, но ведь в разрезе каких обстоятельств…

«Нина, выслушай меня спокойно, — писал Василий. — Жалко твоего жениха. Очень! Когда погибает молодая жизнь — это трагедия. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Но нам — жить. Тебя спасет только память о нем. Не забывай его никогда. И ничего не бойся, я — с тобой».

Собственно, здесь мне добавить нечего. Просто этой женщине дано было Богом притягивать к себе мужчин — настоящих хозяев жизни. Кто они? Какие они? Ни образование, ни воспитание здесь не играют ведущей роли. Здесь главное — это живая и мудрая душа, отличающая их от других.

Как и раньше, Нина изредка писала Василию. Но о чем теперь? О своей погибшей любви, об утраченных надеждах. Боль сердца выливала тому, кому это было небезразлично. «Я жизнь отдала бы за то, чтобы Юра жил. Я не себе хотела счастья, а ему». Ирония судьбы или жестокость судьбы, связавшая Василия и Нину двумя болезненными смертями, — что сближало теперь их? Он

стал ей дорог тем, что она могла сказать ему все о себе, о Юре, об их любви. У нее была потребность выговориться, сто раз повторить то, что пекло, жгло, терзало ее. Скорее всего, если бы не Василий, Нина погибла бы, просто умерла от горя.

Скоро Василий вернулся домой.

— Иди за меня, — сказал в первый вечер, как приехал.

— Не могу.

— Почему? Ты будешь жить своей жизнью, своими воспоминаниями, обещаю. Я хочу быть рядом, понимаешь?

Нина кивала головой, мол, — понимаю. А потом заводила свое:

— Нельзя так. Я его люблю.

— Дорогая моя, люби его. Так должно быть. Он — твоя первая любовь, твоя трагедия, и…

— Что «и»?

— И моя боль. Но его теперь нет. На кого я тебя оставлю? Нина, ты больна горем. Я все понимаю, но настаиваю — иди за меня.

— Хоть год траура, ради его памяти…

— Ты не выдержишь. Тебе нельзя оставаться одной.

Василий ее уговорил, но и она настояла на своем — они поженились через год, шестого ноября 1956. Свадьбы, конечно, не было. Все прошло тихо, буднично — расписались, пришли домой, начали жить вместе.

На следующий день к Нине пришла Вера Сергеевна, Юрина мама.

— Подарок принесла, — сказала тихо и подала Нине что-то объемное и мягкое.

— Что это? — оторопела Нина.

— Не бойся, я не сержусь. Не идти же тебе вслед за Юрой, — сказала она и посмотрела бесцветными немигающими глазами мимо Нины, мимо комнаты, мимо всего живого. — Это подушечка, вам на свадьбу готовила, наволочку крестиком вышила. Юра любил, чтобы маленькая подушечка под головой была. Возьми, пожалуйста, и не забывай его.

— Спасибо, — Нина развернула подарок, мгновение смотрела на искусно вышитую подушечку, а затем склонила на нее голову и… заплакала, громко, сотрясаясь всем существом. Это были ее первые слезы после пережитой трагедии.

Так начался ее долгий бой за выживание. Но основная терапия зависела от Василия, от его чуткости, выдержки и душевной мудрости. Долгих-долгих десять лет Нина выходила из потрясения, вызванного потерей Юрия. Долгих десять лет у нее не было детей, не могла зачать.

Но Бог есть. Видимо, в награду за любовь и терпение он позже послал Василию трех дочерей: Таня родилась 17 декабря 1965, Тамара — 29 июля 1968 и Наталья — 9 ноября 1971 года.

* * *

Я мечтала теперь, будучи взрослой, перечитать самой те Юрины письма к Нине, что когда-то слышала от Оли, хотела поговорить с Ниной. Но было три препятствия. Во-первых, Нина меня не знала, ведь я намного моложе ее и нам не выпадало раньше видеться. Конечно, кто я, Нина знала и назови я себя, она бы меня с радостью приняла. И все же, испорченная городской отчужденностью, ехать сама в соседнее село, где она жила, я не решалась. Кто я такая, почему она должна чужому человеку открываться? Во-вторых, помня сказанные когда-то слова Оли о том, что Нина тяжело переносит потерю Юры, я боялась касаться залеченных ран. Что, если сделаю ей хуже? И в-третьих, — Нина снова переживала горе, — умер муж, тот самый Василий Иванович Бажинов, который назвал ее своей женой, вернул к жизни, подарил женское счастье. Хоть с тех пор и истекло уже тринадцать лет, но вдруг мои вопросы вызовут ее гнев: немилосердно спрашивать о том, что отболело, если сейчас болит другое.

— А мы прихватим с собой Олю! — нашелся Григорий Назарович Колодный, друг моего отца и мой помощник в собирании материала к книге. — Оля живет рядом с нами, она моя соседка! И знает, как говорить с Ниной.

— Да, она нам поможет, — согласилась я. — Так и сделаем. Спасибо вам.

Оля почти не изменилась. На меня смотрела пристально и серьезно, словно не узнавала, а когда я подошла и поцеловала ее, то не сопротивлялась, но и взаимностью не ответила — подставила щечку и все. Она лишь немного пополнела, да еще этот пристальный взгляд прищуренных глаз прибавлял возраста, а в остальном — осталась той самой пятнадцатилетней девочкой, какой я видела ее в последний раз.

— Ты не узнаешь меня? — спросила я, зная, что дядя Григорий ни за что не скажет, с кем она должна встретиться, — любит сюрпризы и розыгрыши.

— Нет, не узнала, — призналась Оля и снова бросила на меня прищуренный взгляд.

— А ее? — показала я на свою сестру, тоже ехавшую с нами.

— Ее узнаю, она дружила со Светою Стекловой.

Пришлось мне называться, знакомя ее с собой сызнова. Оля долго смущалась, хлопала себя руками по бокам и повторяла: «А я-то думаю… я думаю…»

Григорий Назарович развернул во дворе свой «ЛУАЗ» с металлическим кузовом, и мы большой компанией поехали в Тургеневку. Оля все смотрела и никак не решалась признать во мне ту высоконькую черноволосую девочку, стыдливую и неразговорчивую, которой я была, когда провела рядом с ней три дня своей жизни. Конечно, это мои детские впечатления оказались такими сильными, что жили еще и полстолетия спустя, а для нее наша бывшая встреча никаким откровением не явилась. Она забыла меня, и после моих напоминаний едва вспомнила.

— Оля, вы с Ниной сохранили Юрины письма, фотографии, тот портрет, что он прислал с последней запиской?

Оля печально покачала головой.

— Все это долго сохранялось у меня. Нина вышла замуж и отрезала от себя все, что касалось Юры. Иначе не выжила бы. Еще, не приведи, господи, потеряла бы разум.

— Так как же нам теперь быть, о чем говорить с ней? — встревоженно спросила я.

— А-а, теперь можно, — беззаботно сказала Оля. — Она молодец, правильно прожила жизнь, себя берегла.

Мы поехали по дороге на станцию. Не доезжая вокзала, повернули на переезд и за ним сразу взяли влево. Вдоль железной дороги тянулись дома с широкой полосой свободной земли перед дворами, затем вдоль той полосы шла дорога, а через дорогу лежали засеянные фермерские поля. Еще один поворот вывел на дорогу к Тургеневке. Приблизительно метров через пятьсот мы повернули на главную и единственную улицу села и сразу остановились — Нинин дом на этой улице первый справа.

— Ну, иди, — сказал дядя Григорий, засмеялся и прибавил свою любимую прибаутку: — Делай дело, чтоб я видел.

Ворота были открыты, недалеко от них в углу двора лаял песик. Простоволосая, в домашних тапочках пожилая женщина развешивала выстиранное белье.

— Вы Нина? — спросила я, подойдя к ней, не реагируя на лай дворняжки.

— Да, — ответила она, и на ее непроизвольно улыбающемся лице не прорисовались ни удивление, ни любопытство, ни попытка узнать меня. В глазах не было ни недовольства, ни тревоги: с чего вдруг эта чужачка приперлась в ее двор, интересуется именем?

Передо мною стояла женщина, не похожая ни на Олю с Лидой, ни на их братьев.

— Я к вам, — сказала я, любуясь ею — Нина великолепно сохранилась, насколько я могла судить по ее девичьим фотографиям.

— Тогда заходите.

Заурядная красота не покинула ее. Волосы теперь были короткими, но оставались густыми и волнистыми, как и в молодые годы. Теплые глаза смотрели спокойно, доброжелательно. Крепкое телосложение и сильные руки свидетельствовали о привычке к тяжелой физической работе. Но эта работа не оставила на ней пропаханных борозд, твердых мозолей, покрученных суставов или шершавой кожи.

Я представилась, но увидев, что ей это ничего не сказало, назвала своих родителей. Только тут Нина радостно закивала головой.

— Заходите, — пригласила еще раз.

Мои опасения отпали — на Нине оставили свои отпечатки только мудрость и воля. Она была, как могучая река, несущая свои воды медленно, широко разливая по поверхности земли, доверчиво и бесстрашно перед людьми.

— Я не одна, — сказала я и позвала остальных приехавших.

Мои спутники зашли во двор, но скромно стояли в стороне и всеми силами старались не мешать нам. Разговор не клеился. Нина вела себя так, будто то, о чем я спрашивала, было в другой жизни и не с ней, поэтому к сегодняшней встрече отношения не имеет.

— Не знаю я ничего, — улыбнулась она. — Когда это было!

Нина не спросила, зачем я хочу это знать, не удивлялась, хотя и не избегала разговора. Только говорить будто было, в самом деле, не о чем. Между тем ее дочь, подошедшая к нам и прислушивающаяся, пожелала взглянуть на Юрины фотографии. Я подала их.

— А наш папка был красивее, — сказала она после рассматривания.

— Папа всегда должен быть красивее всех, — согласилась я. — Так разве мы не помянем Юрия Алексеевича? Мы привезли с собой вкусные домашние пирожки.

Так, в конце концов, завязался разговор. Нина пригласила нас к столу в летнюю кухню, где все сияло чистотой. Мы что-то там выпили, потянулись к пирожкам.

— Долго я не рада была, что живу, — начала Нина. — Делала все автоматически и то только потому, что был полный дом детей, — должна была. А после свадьбы с Васильком отогрелась возле него, отдохнула. Признательна была ему за тишину, за преданность. Я так намучилась без него, так настрадалась, так

долго он ко мне не приходил!

Василий очень любил жену, сочувственно относился, понимал ее душевное состояние. И не торопил, ждал, пока ее отпустит злое потрясение, пока заметит она солнце над головой и его возле нее. Долгих десять лет ждал. И дождался.

Нина рассказывала о Васильке с любовью, печально, но печаль ее была светлой.

— Я испытала в жизни и большое горе, и большое счастье. А теперь будто искупаю грехи за это — наказана ранним вдовством, одиночеством. Вот дочки побелят стены в хате и разъедутся, а я останусь одна со своими думами. Кому расскажешь о них? Это все — мое…

— Вы что-то от Юры сохранили?

Нина подняла глаза на Олю, спросила взглядом.

— Это как наслано, — начала оправдываться Оля, — все сны, совпадения, невероятные события, в конце концов вода…

— Вода? Какая вода? — встрепенулась Нина.

— Все Юрино, Нина, пропало. Извини, что не говорила тебе. Еще в папиной квартире его не стало.

— Как? — и здесь я наконец увидела, что Нине не безразлично все, связанное с Юрием. Она побледнела и сдержанно сказала: — Я на тебя полагалась, для памяти о моей юности…

— Я не виновата, — открыто взглянула на сестру Оля. — Архив пропал еще тогда, когда отец получил новую квартиру на Заводской улице. Помнишь, нас тогда залили соседи со второго этажа?

— Было такое. Ну и что? — в голосе Нины звенели холодные нотки.

— Вот тогда все бумаги размокли и расползлись в воде.

— И ничего не осталось?!

Оля покачала главой:

— К сожалению. Говорю же тебе — вода. Как наслано.

— Жаль. Очень жаль, — глухо сказала Нина. — Как не было человека.

На этом наша беседа завершилась.

Нина Прокоповна вышла с нами за ворота, смотрела, как мы рассаживаемся в авто, улыбалась, по-крестьянски грустно покачивала главой. Вдруг резко повеял ветер, и она, будто под действием того порыва, энергично подошла к машине. Приблизившись к окну, возле которого я сидела, коротко спросила:

— Что это будет?

— Если позволит здоровье, будет книга.

— Болеешь?

— Да.

— Держись! Вижу, ты не из слабых, — и отошла.

Мы уже развернулись, и дядя Григорий нажал на газ, когда Нина крикнула:

— Я буду ждать тебя! Приезжай! — и я увидела, что она смахнула слезу.

Раздел 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Часть 1. Банальные истины

В феврале 1956 года Николай должен был демобилизоваться. Он становился свободным, и мог продолжать учебу, трудоустраиваться, жениться, начинать жизнь сначала. Так ему и мечталось, к этому и готовился. В родной Славгород возвращаться не хотел. Мать за пять лет привыкла жить без него, устроила личную жизнь. Алим вырос в самостоятельного, красивого мальчика. Николая, казалось, там никто не ждал и никто на него не рассчитывал. Очень Лида подвела. Но он уже понял, что его миссия на земле — оказывать помощь другим, а не принимать ее. Из своих затруднений он должен сам находить выход.

Жили в Николае те намерения до октября 1955 года, до той трагедии, свидетелем которой он стал, которая навсегда захватила его в свой плен, а вернее, — это его душа взяла в плен память о ней и уже не выпускала из себя никогда, определяя дальнейшие поступки, взгляды на мир, людей и духовные ценности. После этого в нем началась скрытая внутренняя работа, невидимая, сокровенная, настоятельная.

«Банальные истины, — думал он на досуге. — Что это за истины?» И понял, что банальными они остаются до тех пор, пока находятся в тебе как гости, приехавшие в корзине чужого опыта, пока живут, охваченные лишь умом. Вот говорят: «Не трогай огонь, а то получишь ожег». Истина о том, что огнем можно обжечься, банальна или нет? Да, банальна! А вот когда сам убедишься в ее истинности, сам полезешь в огонь и получишь первые пузыри, тогда она перестает быть банальной и уже поселяется в тебе на уровне инстинкта. Она становится частью тебя самого как самопроизвольные движения, как закрытые на ярком свете глаза. Она — выстрадана тобой, и отныне является неотъемлемым твоим достоянием. Она уже не может быть банальной, как не является банальным первый глоток воздуха, вкус маминого молока, как не является банальной сама жизнь.

Николай смотрел на море. Как он любил этот его неповторимый бирюзовый цвет, удивительную прозрачность, шуршание волн на береговой гальке! Когда-то он покинет море, будет жить далеко от него. И будет грустить по нему. Ему не будет хватать его прохлады и голубой разнеженности в жару, спокойного плескания в полный штиль, теплого дыхания в морозные дни, гремучего гнева в шторм. И крики чаек, к которым он так и не привык, которые так надоедают, — господи! — будут сниться ему по ночам. Он будет просыпаться от тех снов с

неспокойным сердцебиением.

Как-то Николай попал на лекцию, где говорилось, что вода является хорошим растворителем совсем не потому, что в ней много кислорода, легко вступающего в химические реакции, а потому, что она сохраняет в себе информацию о деструктуризации других веществ. Вода является замечательным носителем программ жизни во всем космосе.

А у человека поступившая информация сохраняется в памяти. Так неужели его никогда не отпустит эта горевая память, которая все заполонила собой? Не хочет он этого! Душа стремится освободиться от тяжелых впечатлений, радоваться, лететь к прекрасному, как было раньше. О, как он хотел бы ничего не знать, стереть в воображении виденные картины, слышанные звуки, забыть слабые, затухающие прикосновенья обессиленных тел.

Вода — носитель информации, памяти… Надо уезжать отсюда! Никогда не возвращаться сюда. Вода Северной бухты еще целые века будет нести записанный в ее толще след трагедии, будет излучать смерть, ужас, вопли, беспомощность. Она, вода Черного моря, пригретая Севастополем в своей гавани, является самым убедительным свидетелем предательства. Только кто прочитает записанные в ней показания?

Да, сначала Николай не хотел возвращаться домой. Вынашивал планы, чтобы остаться в Севастополе. Море дало ему шестой разряд судового электрика. Такие специалисты на дороге не валяются. Девушек красивых вокруг много, город как цветок — чист и бел, на бульварах и проспектах преобладает молодежь, не видно стариков и печальных людей. Чего еще надо для счастья?

Часть 2. Горечь

Так продолжал думать Николай еще до последних дней службы. Все казалось ему, что злое забудется. Оно и в самом деле сначала немного отпустило. Выздоравливанию души, ее успокоению, восстановлению равновесия помогало понимание того, что он исполнил долг до последней капли искренней совести своей, а если бы надо было еще что-то делать — пошел бы и делал.

Сходя на берег в увольнительные, Николай покупал охапку цветов и ехал на кладбище, а там ходил между могилами моряков, читал самодельные эпитафии на дощечках, проникался печалью — очищающей, возрождающей. Клал по одному цветку возле колышков с дощечками, на которых были написаны имена «новороссийцев», а цветы, что оставались, рассыпал на безымянной могиле. Когда-то это увидела молодая привлекательная женщина, неизвестно откуда взявшаяся рядом.

— Что же ты делаешь, неразумный? — спросила она неодобрительно или испуганно.

— А что? — вздрогнул Николай от неожиданности.

— Зачем по одному цветку кладешь? На кого беду накликаешь?

— А что здесь такого? — он обалдел от непонимания.

— Нельзя непарное количество цветов на мертвого класть.

— Извините, — пролепетал. — Я не знал этого.

— Не приходилось еще погребать? — спросила женщина снисходительнее.

— Не приходилось, — сказал неправду, чтобы отвести от себя обвинение.

— Это такая традиция, — женщина подошла ближе. — Наши «новороссийцы»… Ты тоже из них?

— Нет, я принимал участие в спасательных работах. Но там, — показал в сторону моря, — двое наших осталось.

— Там? — женщина кивнула на братскую могилу.

— Нет, на дне моря.

— И мой Максим там, — женщина достала из кармана платок. — Извини.

Она отошла и начала смотреть, как он, не торопясь, докладывал еще по цветку туда, где уже по одному лежало. На братскую могилу цветов не хватило. Николай беспомощно остановился перед ней, склонил главу, развел руками. Сейчас, защищаясь от видений пережитой трагедии, старался припомнить, клал он когда-нибудь цветы на могилу своего

отчима, убитого немцами на славгородском расстреле, или не клал. Из задумчивости его вывело несмелое прикосновение. Николая аж холодом проняло, так оно напомнил недавнее… Перед ним снова стояла та самая женщина. Только теперь он рассмотрел, что она совсем юная девушка.

— Может, давай встретимся. Я теперь без жениха, — тихо сказала она и в ее взгляде была мольба не отвечать отказом.

— Не могу, уезжаю домой.

— Точно?

— Точно.

— Тогда будь счастлив.

Девушка пошла на выход, а он, глядя ей вслед, задержался, чтобы им больше не встретиться на остановке.

— Извините, ребята, — сказал тем, что лежали в братской могиле, будто перед ним были живые. — В другой раз и вам принесу цветов.

Тишина была знаком согласия.

Николай сказал девушке неправду. Ему оставалось дослуживать в Севастополе несколько месяцев.

Наступивший после январских оттепелей февраль кутался в зимние шубы. В самом своем начале намел много снега и каждый день досыпал, досыпал его. Эти тихие снегопады, очищающие воздух, тем не менее, надоедали жителям города, выбивали их из обычного ритма жизни, заставляли выходить на улицы и кромсать пушистое, белое покрывало земли, отбрасывая его с тротуаров, образовывая из него черные, безобразные сугробы, громоздящиеся под заборами, а то и просто вдоль дорог. Солнце натыкалось лучами на черные пятна расчищенного асфальта, выливало на них разочарование очищенным ликом города, распекало их. Груды снега, лежащего вокруг этого разогретого гудрона, таяли, и текли под ноги прохожим грязными ручьями, от которых поднимались к небу тяжелые испарения.

И это зима — волшебная, белоснежная, сказочная? В зимнюю пору Николай не мог привыкнуть к городской жизни. Ему хотелось выйти на степной простор, оглянуться кругом, слиться с ним, ощутить себя частью земной безбрежности, надышаться сухим морозным воздухом, в котором искрились бы неразличимые глазом льдинки.

Ему казалось неестественным, что морская вода зимой не замерзает. Становится густой и черной, теряет свою летнюю обходительность, грохочет и грохочет, как сварливая жена, а не замерзает. Море не впадало в спячку вместе с природой, как степь, как лес или как горы. Оно слонялось от берега к берегу и, как медведь-шатун, искало, на кого бы выместить свою тяжелую

бессонницу.

Решение о возвращении домой пришло в один миг. Исчезла нерешительность, долгие сомнения и колебания, а на их месте утвердилась уверенность, что от добра — добра не ищут. Еще одна банальная истина! — хмыкнул он и облегченно вздохнул, будто долго нес что-то тяжелое, а вот снял его с плеч. Почему так бывает, что простая и очевидная мысль приходит такими извилистыми путями? Терзает тебя, мучает, водит окольный дорогами, и не сразу приоткрывается.

В ближайшее время, накупив охапку гвоздик, Николай снова поехал на кладбище, чтобы перед отъездом домой окончательно проститься с побратимами — приспевало время собирать вещи. А еще хотел побыть за городом, потоптаться по снежку, послушать его скрипение, натрудить глаза его сиянием, насмотреться на белое. Это была немаловажная потребность степной души. Голубое и синее ему надоело, казалось, что это какой-то злой маляр умышленно выплеснул ненужные краски и смыл с лета — зеленое, с осени — желтое и багряное, а с зимы — белое.

На кладбище ничего не изменялось. Так же на продолговатых холмиках земли, образованных над безымянными братскими могилами, лежали цветы и бумажные венки. Кое-где в мерзлом грунте одиноко стояли деревянные колышки с фамилиями погибших.

Николай еще издали увидел ту девушку, что потеряла своего Максима. Теперь она донимала другого моряка: то приближалась к нему, то отдалялась. Стремилась «не упустить шанс»? Николай замедлил шаг и вдруг догадался — да ведь эта девушка больна! Да, она стала неопрятной, бледной. Давно нечесаные, сбитые волосы некрасиво выглядывали из-под нарядной когда-то шляпки, одежда имела помятый вид, черное пальто было сплошь вываляно в мусоре, обувь нечищеная.

— Максимчик, зачем ты бросил меня? — обращалась она к моряку, и каждое ее слово звонко прокатывалось над тихим приютом «новороссийцев». — Я теперь живу не дома. Может, ты не знаешь, где меня искать?

Моряк не обращал на нее внимания. Он встряхивал снег с венков, рассматривая траурные ленты на них, поправлял вазоны с замерзшими цветами. Может, искал кого-то. Со временем терпение его лопнуло:

— Отойди! — прикрикнул на девушку, которая нетерпеливо дергала его за руку, стараясь повернуть лицом к себе.

Та заплакала, отошла от него, присела на корточки и начала дуть на красные от мороза руки. Николай растерялся. Пройти мимо нее незамеченным невозможно, а попадаться ей на глаза не

хотелось — начнет приставать и к нему.

— Вот мой Максимчик! — обрадовалась девушка, издали ощутив его присутствие, как ощущает человека беспомощный зверек. — А я думаю, чего тот дядька прогоняет меня? Значит, я обозналась.

— Как тебя зовут? — спросил Николай, когда она приблизилась.

— Галина.

— Зачем ты здесь ходишь?

— Ищу… А он прогоняет! — пожаловалась она плаксивым голосом.

— Давай вместе положим цветы нашим ребятам, — по возможности ласковее сказал Николай. — Ведь они и твоими друзьями были. Да?

— Да, — девушка покорно пошла рядом. — И Максимку положим?

— И Максимку тоже, — согласился Николай и отдал ей цветы. — Иди, возлагай, а я подожду.

Тем временем моряк, накричавший на больную, направился к выходу из кладбища. Проходя мимо Николая, промолвил, словно извиняясь:

— Нервы не выдерживают… Пропала девушка. Жаль.

— Ничего, брат, — успокоил моряка Николай и взглянул на девушку, добросовестно раскладывающую цветы по могилам. — Она все понимает, но смириться с горем не хочет.

— Какое там «понимает»? Все время такое мелет.

— Психика не выдерживает перегрузок, вот и придумала такую игру, чтобы адаптироваться. Со временем оно ее отпустит.

— Дай-то бог, — сказал моряк и ушел.

— Такой нехороший! — девушка показала пальцем на выход, где скрылся моряк. — Говорил обо мне что-то плохое?

Она, в самом деле, все понимала, просто хотела, чтобы в ней поддерживали иллюзию, что ее любимый — живой.

— Нет, — возразил Николай. — Он беспокоился о тебе. Тебе не холодно? Знаешь что, иди домой, согрейся, а я еще здесь побуду.

— А завтра придешь?

— Не знаю. Служба — дело суровое. Но я постараюсь.

— Ага! — девушка обрадовалась неуверенному обещанию и быстро побежала на автобусную остановку.

* * *

Наконец-то Николай ступил на перрон славгородского вокзала, поставил чемодан, вздохнул вольно. Дома! Все горькое осталось позади, все прошло. Начинается новая жизнь. За станцией он вышел на втоптанную дорогу, пересек ее и пошел напрямик степью к поселку.

Здесь не гремело море, не кричали чайки, не веял беспрестанный ветер. Ничто не давило на душу своим подвижным присутствием. Далекий горизонт не закрывали горы, не врезались в небо, окрашивая солнечный восход и закат в цвета глины и песка. Под ногами ощущалась живая, трепетная земля, хоть она и спала под толстым слоем вьюжистых одежд. Но ее дыхание угадывалось. Ее дорогое тело с каждым шагом пружинно прогибалось, а закоченелый на морозе снег знакомо поскрипывал в такт походки.

Николай вернулся другим человеком, и сам это ощущал. Может, это грандиозность моря родила в нем широкие замыслы или беспрестанный морской непокой встроил в душу вечный двигатель чувств и эмоций? Или крымские горы научили быть сдержанным и стойким? Наперекор крику всегда голодных чаек, который никогда не перестанет ему чудиться, отзывается теперь в нем тишина, и он падает в нее, как в летные травы, чтобы без очевидцев, без помех разобраться в том, что ему пришлось пережить.

Что за ужас это был? Может, вулкан взорвался или ухнула об Севастополь глупая комета? Откуда он пришел: из недр земных или упал с горячих звезд? Эх, если бы так просто все объяснялось… Но кроме терпеливой земли и молчаливых далеких звезд, есть еще люди — непослушные боговы создания — и в них скрыта загадка и разгадка правды о линкоре «Новороссийск». Та правда, которую надо забыть. Но удастся ли? Как забыть, какой силой вырвать из воображения, из сердца, из памяти мольбы и крики, последние содрогания матроса, умершего у него на руках? Можно ли забыть травмированных моряков, в исступлении доплывающих до берега своими силами, их хрипы и стоны, проклятия и растерянность? Как забыть? Как!?

Он чувствовал — мысли о гибели линкора стали его внутренним, болевым и непонятным, — морем. Они будут бить в берега его сердца, кромсать и резать его, пока он не поймет всего до конца. Ничего забывать он не собирался, так как забыть — это значит предать.

С этой стороны, откуда шел Николай, село начинались колхозным садом, а дальше лежало кладбище. И Николай повернул к нему, пошел, утопая в заносах. Он начал искать братскую могилу, в которой покоились расстрелянные немцами

славгородцы.

Оставляя за собой глубокие следы, стараясь понять, где могилы, а где снегом занесенные кусты, Николай долго петлял между сугробами. На пушистой, не слежавшейся глади снега виднелись следы птиц и собак, углубления, оставленные заячьими лапками. Несколько раз Николай прошел вдоль едва заметного бугорка земли, обследовал окружающие холмики и лишь тогда удостоверился, что этот продолговатый бугорок — и есть братская могила. Ее поверхность почти сравнялась с землей. Если бы не знал, что она здесь должна быть, — не нашел бы. Ни креста, ни ограды, ни одного декоративного кустика. Забытое, запущенное захоронение.

Бог мой, лежат здесь, беспомощные и доверчивые, не способные ни на сопротивление, ни на отплату! Открытые каждому как для оплакивания, так и для глумления. Что еще, кроме доверия к живым, у них осталось, кроме слабенького ожидания доброй памяти о них, надежды, что люди будут чуткими к их растерзанным останкам? «Родные, как же вас защитить, как обезопасить? — Николай заплакал. — Инфернальный сон ста пятидесяти восьми человек, кого фашистские палачи расстреливали из автоматов, забрасывали гранатами, добивали из пистолетов, — подумал он, — будет длиться до тех пор, пока не вычеканят здесь их имена, не напишут для потомков правду об их нерасцветших жизнях и о ранней гибели, пока не воздадут им человеческой памятью, не оплачут сполна».

После стольких смертей, которых успел насмотреться за свои немногие лета, он не стыдился слез. Думалось, что после войны будет торжествовать только жизнь, не будет места наглой смерти. Тогда ему удалось приглушить в себе видения плачущих женщин, убийств и расстрелов, удалось не вспоминать бои и мертвые мужские тела на нескошенных полях, где над ними стаями кружили вороны.

Но произошла гибель линкора, и все вернулось снова. В соленых от пота снах, в температурно-горячих метаниях на измятой постели ему мерещились предсмертные судороги побратимов, и он снова слышал звуки «Варяга». И задавленная память ожила, заколола в сердце, забила в виски, заполонила мозг испуганными метаниями.

И вот его мертвые, те, с кого он начинал оплакивать потери, возвратились к нему. Или это он пришел к ним? Нет, не беспомощным пришел, и не просто так склонил голову! — он пришел к ним осознанным, с большим знанием и о смертном моменте, и о человеческом бессмертии.

Неужели здесь никого не бывает? Николай осмотрелся вокруг и увидел, что со стороны села сюда вели прикиданные снегом следы. Он обошел могилу и оказался там, где недавно кто-то стоял. Он будто старался втиснуться в еще присутствующую здесь его ауру, чтобы ощутить чужие мысли и свериться, не ошибается ли он в том, что забвение — это предательство, это — дорога, которая не ведет в будущее.

Время бежит через нас, мы — его проводники. Значит, будущее вызревает в нас из прошлого — как плод и наше основное достижение. И если мы забываем старину, то обрекаем себя на бесплодность, бездуховность и пресекаем бессмертие человека, обрываем дорогу в вечность для наших предков и для наших детей. Так как предков мы оставляем без завтрашнего дня, а детей — без вчерашнего.

«Дорогие мои, я понял всю правду о смысле жизни. И теперь, клянусь, все, что смогу, сделаю для вас. Подождите чуть-чуть, еще немножечко потерпите», — мысленно произнес Николай и снял с головы шапку. Он поймал себя на том неумышленном жесте и облегченно вздохнул — да, наконец-то он дома. Как долго он сюда возвращался, какой извилистой была его дорога.

Теперь Николай знал, с чего начинать новые дела.

Часть 3. А дальше была работа…

Николай Николаевич Сидоренко и в дальнейшем оставался достойным своей неповторимой, буревой юности, своего возмужания. Главное, он делал то, что не удалось Юре Артемову, — жил. А еще — увеличивал запасы счастья на земле, по-настоящему став преемником Славгородских спасателей.

В феврале 1956 года, демобилизовавшись, возвратился на прежнее место работы в литейный цех Славгородского завода «Прогресс». Работал добросовестно, не жалел себя, не прятался за чужие спины, и люди ему охотно помогали. Мечты сбывались: скоро выстроил для себя и матери новую хату, затем женился на Анне Сергеевне Ермак — женщине тихой и скромной во всех отношениях. У них родилась дочь Людмила и сын Евгений. Жизнь снова приобретала смысл, затягивала старые раны.

В 1968 году Николай Николаевич без отрыва от производства окончил Днепродзержинский химико-технологический техникум, а в 1982 году — Днепропетровский строительный институт, стал инженером-строителем. По избранной специальности достиг значительных высот, стал заместителем директора завода по капитальному строительству.

Энергия и преданность работе, которыми судьба одарила Николая Николаевича, понравились не только заводчанам, но и всем жителям Славгорода, поэтому в 1971 году его избрали председателем исполкома местного совета. На этом посту Николай Николаевич находился до 1977 года, и за это время сделал много полезного для земляков. Под его руководством были возведены поликлиника и больница, детский дошкольный комплекс и средняя школа, несколько двухэтажных и трехэтажных жилых домов, заасфальтированы основные дороги и проложены пешеходные дорожки с твердым покрытием на улицах.

Выполнил Николай Николаевич и то, что обещал погибшим односельчанам — увековечил память о них. На месте расстрела ныне стоит обелиск, на месте их захоронения обустроена братская могила, а их имена увековечены в камне. В центре поселка насажен новый парк, а в нем, оберегая покой братского кладбища советских воинов, стоит памятник Неизвестному Солдату.

Еще девять лет работал Николай Николаевич на должности заместителя директора завода по капитальному строительства, куда возвратился, после освобождения от общественной деятельности. И все это время продолжал то, что стало делом

всей его жизни — расширял и достраивал завод и поселок.

Он вышел на пенсию в марте 1986 года и теперь занимается пчеловодством.

Часть 4. Точка пересечения…

Невольно думается, мол, так все было давно… нам-то сейчас какое дело до Юрия? Мало ли каким он мог стать, если бы остался жить. Попытаемся это понять, применив метод сравнения его с Николаем.

Рассмотрим объективные реалии. Во-первых, Юрий и Николай были ровесниками. Дальше, их объединяло одно и то же село с его окраинами, речкой Осокоревкой, которая начиналась около Юриной усадьбы, километра через полтора проходила вдоль подворья Николая и дальше по разлогой впадине уходила к Днепру. Они учились в одной школе, хотя и в разное время. Оба узнали тяготы войны и оккупации, поделили с другими общую радость — Великую Победу. Это говорит о том, что Юра и Николай росли типичными мальчишками с одинаковыми ценностями души, детьми одного времени, одной истории, одних просторов и одного народа.

Рассмотрим частные факторы. Биографии Юрия и Николая пестрят совпадениями, которые удивляют и принуждают размышлять над ними:

— оба были детьми молодого солнца, родились в той четверти года, когда день, перевалив через зимний солнцеворот, начинает расти и теснить мрак: Юра — 10 января 1931 года, Николай — 16 марта 1931 года;

— оба были старшими сыновьями в многодетных семьях, что воспитало в них чувство хозяина и ответственность за младших и слабых;

— обоих воспитывали овдовевшие матери, для которых они стали главной опорой в семье;

— у обоих отцы умерли задолго до войны, а не погибли на фронте, как у большинства их осиротевших сверстников;

— попав на флот, оба сначала увлеклись морем, а после долгих сомнений решили возвращаться домой;

— в духовном плане оба были воспитаны Славгородскими спасателями: Юра — Ильей Вернигорой, Николай — Яковом Бараненко.

— оба попали в ад наибольшей морской катастрофы XX столетия, в ад гибели линкора «Новороссийск». Это стало точкой пересечения их судеб, а заодно и точкой испытания. Примечательно, что и тут они одинаково проявили себя. Оба выдержали испытание с полной самоотдачей и преданностью: Юрий — линкору, а Николай — служению людям.

Рассмотрим различия. Различие было одно и говорило в

пользу Юрия. К моменту призыва на военную службу Юрий значительно опережал Николая в образовании: Николай окончил только начальную школу, а Юрий — полную среднюю.

Приведенные данные и факты жизни Николая Николаевича позволяют с уверенностью сказать, что с гибелью Юрия Артемова мы потеряли человека самой высокой пробы. А значит, без него мы все — тоже жнецы потерь, мы все стали сиротами…

Эпилог

— И это все? — спросила мама, дочитав рукопись.

— Все. А что еще?

— Ты намекала на расшифровку снов и предсказаний. А где же здесь об утопленнике в ставке, где о севастопольском сне Веры Сергеевны, когда Юру хоронили?

— Ты от меня много хочешь. Откуда я знаю? Вероятно, перед появлением утопленника в ставке Юра видел плохой сон, который беспокоил его. А когда мать с теткой решили на ставке искупаться, предостерег их.

— Но что-то же вызвало у него тот сон? — не отставала мама. — Что?

— Что-то вызвало… — согласилась я. — Может, тот мальчик, что утонул, еще плохо плавал, а лез на глубину. Мальчишки, они такие, ты же знаешь. А может, был склонен к судорогам и с ним в воде не раз происходили неприятности. Юра мог наблюдать это, вот и приснилось.

Как и мама, я прониклась ощущением незавершенности, и снова принялась за поиски. Но где искать, у кого? Тот мальчик, который утонул в пруду, начала прикидывать я, должен бы быть ровесником нынешних семидесятилетних стариков.

Дальше, Зина о нем так рассказывала… без имени, без фамилии, словно он был бродяжкой приблудным. Но у нас в селе чужаков не было, тем более в то время, и так могли относиться только к детям железнодорожных обходчиков. Они в самом деле жили в будках, что стояли в стороне от поселка, под посадками, и держались особняком.

Почему-то вспомнились Косогубовы, Охрименки, родители которых тоже были железнодорожниками. Наверное, кто-то из них дружил с детьми будочников… Мысли текли дальше: а Косогубовы и Охрименки жили неподалеку от моего дядьки по отцу…

Вот мы с мамой и пошли к нему.

— Это ты не о Седлецких ли спрашиваешь? — удивился он, когда я рассказала, что ищу. — Так у них отец был припадочным эпилептиком, и младший сын, бывало, как в воду попадет, сразу его судороги берут. Вот и утонул.

— И все это знали? — уточнила я.

— О чем знали?

— Что у мальчика в воде начинаются судороги.

— Знали, конечно. Родители ему запрещали купаться. А оно же дитя. Непослушное. Лезло, ни на кого не обращало внимания.

Да и мы, старшие пацаны, иногда подзатыльником выгоняли его из воды. Все равно утонул, видно, судьба.

Поскольку мама тоже слышала свидетельства дядьки, то тема утопшего мальчика считалась закрытой. Вероятно, и Юра не раз одергивал больного ребенка от опасных купаний, предвидя неладное. Почему бы оно ему не приснилось?

— А Верин севастопольский сон? — не унималась моя мама. — Ты давай пиши все до конца.

— А тебе разве не снятся вещие сны, когда я, находясь далеко от дома, заболеваю? — напомнила я аналогичные ситуации, которых было немало.

— Так ты же, слава Богу, живая! — воскликнула мама. — Сравнила… Я улавливаю твои живые флюиды. А как Вера угадала о мертвом Юрии, что его в то утро будут хоронить?

— А Вера Сергеевна, побывав к ночи на кладбище, много думала о Юре, вспоминала. Под утро во сне услышала звуки траурной музыки, и они вызвали в ней видение о погребении сына. То, что его именно тогда погребали, — просто совпадение. Ведь ты не отрицаешь, что странные совпадения в жизни все-таки случаются?

— Нет, не возражаю, — сказала мама.

— Зина рассказывала, что Юра и после смерти еще долго давал советы родственникам. Согласись, что он снился им до тех пор, пока они думали о нем. А советы получали те, какие сами находили, настойчиво ища выход из затруднений. Юра здесь выступал «упаковкой» снов, их формой.

Я часто вспоминаю одного знакомого, с которым долго и тесно общалась по вопросам своей коммерческой деятельности в тяжелые годы перестройки. Тогда банки и таможни, перестраиваясь, мешали нам вести общую деятельность с партнерами из других республик. Упомянутый знакомый неоднократно выручал меня, подавал дельные советы, помогал. Одним словом, долгое время возле меня находился умный и волевой мужчина, который при каждой встрече именно этим производил впечатление.

А потом он уехал в Москву, а я продолжала попадать в сложные ситуации. Как быть? И вдруг мозг сам нашел выход — он начал транслировать мне картины, как бы повел себя мой знакомый, окажись на моем месте, что бы сказал, как бы поступил. Мне даже его голос слышался, с тончайшими оттенками интонаций. И это помогало находить целесообразные решения. Конечно, он ни о чем сном и духом не знал! Спустя время при встрече я рассказывала ему об этом. «А я, — смеясь, сказал он, — ощущаю, что кто-то забирает мою энергию, а это,

оказывается, ты была. Ну ладно, для тебя мне не жалко. Бери!». В случае с Юрой здесь полная аналогия.

— Похоже, — согласилась мама. — Но Юрин сон ты мне так и не растолковала. Накрутила разного. Иностранный язык, эфир, сон… К чему здесь авария с линкором и Юрина гибель?

— Тут все еще проще, — сказала я. — Неопознанные субмарины преследовали линкор еще с весны. Об этом говорили не только на «Новороссийске». Видимо, в канун праздников террористы оживились, что тоже замечалось моряками. Этого хватило тонкой душе, Юра все понял… а исход событий просчитала его интуиция и подсказала во сне.

— Значит, все, книга дописана?

— Да, мамочка. И спасибо тебе за помощь.

Это было осенью 2001 года. После этого мама прожила еще девять лет.

Днепропетровск,

декабрь 2015 г.

notes

Примечания

1

Такички — так же, по данному образцу.

2

Терпологи — грабли на длинном древке для укладки стогов соломы.

3

Комора — кладовая.

4

Чумарка — род мужской верхней одежды с отрезной талией и сборками сзади.

5

Кабица — очаг; открытая летняя плита (печь).